

Настоящее время

Поэзия

Союз писателей Москвы

Настоящее время

Поэзия

Москва
«Воймега»
2019

УДК821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Н32



*Книга издана с использованием гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов*

Настоящее время. Поэзия / Сост.: А. Переверзин,
Н32 Э. Сухова, О. Хлебников; Союз писателей Москвы. —
М.: «Воймега», 2019. — 244 с. — (Путь в литературу).

ISBN 978-5-6042671-1-0

Проект «Путь в литературу» объединяет молодых авторов из России и зарубежья, пишущих на русском языке. Все они очень разные. Кто-то уже известен читателям и обратил на себя внимание литературных критиков, кто-то находится в самом начале творческого пути. И каждому из них, вне зависимости от возраста и места проживания, свойственны творческая смелость, равнодушие, бережное отношение к родному языку и русским литературным традициям.

В сборнике собраны двадцать пять поэтов, участвовавших в семинарах молодых авторов Союза писателей Москвы. Самому молодому автору 18, самому старшему — 35. Всех их объединяет талант и стремление выйти за рамки самого себя. Здесь есть всё, чем живет и дышит современная поэзия, здесь нет банальности и заурядности.

ISBN 978-5-6042671-1-0

© авторы материалов, 2019
© Союз писателей Москвы, 2019
© «Воймега», 2019

Здесь всё всерьез

Несколько лет я веду семинары для молодых авторов и наблюдаю, что нынешние двадцати-тридцатилетние авторы начитаннее, любопытнее, энергичнее нашего поколения в том же возрасте. Поэтому считаю, что все разговоры о смерти поэзии сильно преувеличены. Одно из доказательств тому — этот сборник, в котором собраны совершенно разные авторы и по манере, и по мироощущению, и по возрасту, но всех их объединяет талант и стремление выйти за рамки самого себя.

Нынешняя ситуация в поэзии сравнима с ситуацией в Серебряном веке, когда поэты собрались в квартирах и небольших кафе, а тиражи поэтических книг редко переваливали за тысячу экземпляров. «Мы не тенора», — слова Блока, сказанные Ахматовой, точно раскрывают суть поэтического ремесла. Мне кажется, авторы сборника хорошо это понимают и не строят напрасных иллюзий. Быть в андеграунде — обычное состояние литературы сегодня, когда мир перестал быть литературоцентричным. Поэзия не имеет никакого отношения к массовой культуре, поэт говорит о важных вещах так, что его слова могут быть поняты и оценены единомышленниками, и только по прошествии времени — читателями.

Как заметил философ, стихи — это поток радости, боли, изумления и малая толика слов из словаря. «Слова из словаря» этим молодым людям хорошо известны, они знают и о том, что такое радость и изумление. Желать боли было бы негуманно... Я хочу пожелать им поскорее осознать, что будущее для них стало настоящим. Их время пришло. В двадцать пять кажется, что времени еще много, но самый обманчивый из всех механических звуков — тиканье часов. Поэтому, не теряя ни минуты, вперед — в настоящее время.

Александр Переверзин,
руководитель семинара поэзии

Состав семинара поэзии 2018 года было очень трудно отобрать. Такого количества заявок — причем заявок отнюдь не графоманских — давненько не бывало. В двери семинара стучались яркие, индивидуальные, самостоятельно мыслящие авторы. Многие из них уже собрали целый букет публикаций в «толстых» журналах. Кто-то (Василий Нацентов, Евгения

Коробкова, Григорий Медведев, Владимир Косогов, Евгения Баранова) имеет в своем активе литературные премии. Чье-то имя еще не прозвучало достаточно громко, но потенциал безусловно есть. Мастерам очень повезло со студентами. Умные, начитанные, талантливые, имеющие собственное представление о литературном процессе, очень разные (от репера до «академистов»), и главное — готовые учиться! Их стихи — отнюдь не ученические поделки. Здесь и нерв, и боль, и трепетная лирика, и острая социальность, и надрыв, и язвительность. Здесь жизнь во всех ее проявлениях, пропущенная через неравнодушные сердца. Эта книга собрана из стихов, не ждущих снисхождения к молодому возрасту авторов. Здесь всё по-взрослому и всё всерьез, ведь поэт не бывает начинающим, если он поэт — он просто поэт.

Элина Сухова,
руководитель семинара поэзии

Антон Азаренков

Отвечать не словами

Элегия о Вознесенском кладбище

На потайной скамейке
встречались ввечеру.
(У матушки Ирины,
Панкратовой в миру,
покинутой в могилке...
А я потом умру.)
По узеньким тропинкам
гуляли наугад
до сумерек, и бедра
скользили меж оград.
И в сумочке лежали
таблетки циклодол.
От холода дрожали,
и длился поцелуй...

Как юности детальны
и память, и вина!
И как сентиментально
то кладбище: больна.

Увидел привиденье,
знакомое лицо,
в соседнем отделенье,
тоскливом ПСО.
«Мы всё перетерпели, —
шепну через года, —
но сколько б ни болели,
мы здесь не навсегда».

Автограф

Дорогая мама!
Герой моей первой книжки
пьет и курит.
И часто болеет.
И изменяет женщинам, как твой первый
благочестивый
«козел азаренков».
Герой этой книги много пьет
вина, красного и сухого;
пива, живого и темного.
И не герой, конечно, а так — субъект,
в меру упитанный, порой лирический,
особенно когда выпьет.

Ладно, мама,
знаю,
что дед Колька умер от этого,
что Витька умрет от этого,
что все мы стоим в этом, как в огне, в говне, в геенне...
Знаю. Ну а что с этим делать? От осинки
не родятся апельсинки.

Кстати,
Егорьевская церковь на Фурманова
теперь общежитие:
белье на фоне общипанной панорамы...
Старушка выводит из ветхого закутка
трех-четырех коз
и кособокого Боньку
пасть на церковной лужайке.
А когда тот залезает на чей-нибудь огород,
раздается окрест: «Бонька! Ты ты соусом оборзел?
А ну дывай тикай оттудава, кому скызала!
Получишь тут! У-у-у, козлице поганый, черт ты
лысый! Фашист проклятый, вредитель,
конченный...»

Отплытие

Там кабинет лечебных процедур,
там царство стеклышек, иголок,
как в запорошенном саду.
Наталья-отоларинголог
вставляет в носовой проход
негибкий шланг, но я не струшу,
за нею повторяя «пааа-рррааа-ход»
(на слог «ход» надавливает грушу,
и в голове растёт воздушный шар —

непо-меща-юща-яся душа).
А я на незаправленном снегу
назло Наталье уши отморожу
и шапку неудобную сниму:
так лучше слышно осторожное
постукивание веток, мерный скрип
промерзших досок, свист в газопроводе...
Ещё гудок на нашем пароходе.
И чаек удаляющихся всхлип.

* * *

Когда с неба вопросительно промычит сирена,
нужно будет отвечать за слова,
многочисленные слова.
Отвечать не словами.

Когда медленно
спустится
на развернутом звездном куполе
блистательный парашютист,
устыдимся своих розоватых складок,
но всё равно
не издадим ни звука.

И даже тогда,
когда будут привязывать к нам —
к этой, к этой, и к той, и к тому —
воздушные шарики,
увлекающие в безвоздушную тьму
наших любимых,
не поднимем глаза:
бойкот.

Пусть берут что хотят.
Пусть кидают нам сверху бомбу
сердобольного солнца с гвоздем внутри.
Пусть старается этот экзюпери,
мы не слышим пронзительный гул самолета.
Нас не связывает высота.
Этот, этот, и тот, и та —
мы неслышимнеслышимнеслышим,
винта
вашего мы не слышим!
И тише,
тише там!
Тсс...

* * *

Звездочкой лишней, сердцем
дрожит ночной самолет,
между Алиотом и Мегрецем
ломая Медведицы черный лед.
Мерцает в крепящих пальцах
надломленная сигарета.

И видно ее с того света,
и слышно ее мимолетное скерцо
в торжественной музыке сфер,
между твердью и хлябью,
и давление атмосфер
вспыхивает артериальной рябью

под одеялом того,
кто сейчас одинок, кто я.
Кто, себя от вечности затая,
празднует Рождество.

* * *

Одной сигареты хватает,
чтобы дойти до крайней пятиэтажки.
Утром качает
от голода и затыжки,
слишком глубокой. До времени неприметен,
словно картонка о помощи наркоманам.
Грузчики, переезды.
Словно окуроченный птичьим снегом.
Стихотворение на бегу:
второй хватает на полуслове.
Третьей — чтобы забыть тебя,
до времени.
Утром —
до времени,
до того, как наступит время, —
утром —
свернувшись
в пластмассовых ложечках,
мертвых стаканчиках,
мелких скорлупках,
грязных брызгах,
красных каплях —
утром —
когда эта машина —
утром —
когда изберут тирана —
утром —
когда уже никто никуда не уедет —
чтобы забыть тебя.

Кардиограмма

в разрезе инжир
солнце потерянное в Алжире
Альбером Марке
разрежённый
альбомный лист
и люди тают в пейзаже
как портовые дымки
как слякоть пространства вдоль набережной
реки
времен
когда уже не родился
радио ретро радио ностальжи
кардиовертер
не выровнял
ритм
— *сбитым дыханием*
с вами по-прежнему говорит
ветер

Безделица

Время сложено из камней,
когда-нибудь и в твоей
комнате будет куст
ленкоранской акации... Куц
рядом выросший львиный зев —
я заснул на хребте, засев
между правых твоих обид
и левых своих харибд.
Там, где каждый на букву Г,
фрикатив позабыв родной,
говорит, наклонясь: «Родной,
где агапэ твоя?» — В Нигде.

Что мне влажный поет муссон?
Что гнетет в Херсонесе сон?
От тебя удален: спасен.
В дивы дивные удивлен.

Как на лбу от ожога боль,
в мыслях горит июль.
Дебелый сопит Улисс,
сделав свое буль-буль.
Солнца катится колесо,
и татарская Калипсо,
позабыв родной нарратив,
подливает аперитив.

Время сложено из морей,
а стрела, что всего острей,
залегает на самом дне
рождения — в западне.

* * *

Этой рябью на черной воде...
И ноябрьским гулом.
Сапогом, поскользнувшимся в борозде,
заброшенным лугом.
У сквозного забора в какой-нибудь слободе,
под какой-нибудь Вязьмой.
Навсегда, навсегда, навсегда-езде.
Налипающей грязью —
на колеса, копыта и сапоги —
черной, скользкой.
Этим замершим воздухом западни,
этой погодой польской.
От кольцевого шоссе
потусторонним гулом.
Под дождем с характерным «пше»
гаснувшим поцелуем.

И строкою Целана. Ein Dröhnen: es ist...
И щавелевым лугом детским,
что теперь в полуснеге лежит, нечист,
и очнуться не с кем.
Этой рябью... и взвесью... и белой мглой.
Черно-белым военным снимком.
Это же не затмение, а свет контровой!
Кто-то, кажется, с нимбом...

* * *

Энциклопедия детских страхов:
меня маленьким мама водила в секту.
Я до сих пор помню этот запах
дешевой мебели. И все, кто
собирался в обычной двушке за чудесами
к вечеру обговоренной даты, —
это толстые женщины с заплаканными глазами
и какие-то бородатые.

Всё начиналось с магнитофонной проповеди,
и если мешал неугомонно кричащий
ребенок, мне иногда давали попробовать
вина из старой церковной чаши.
И уводили в другую комнату.
Хозяйские дети очень любили,
когда большие-и-незнакомые
люди давали нам в руки библии.

Мы начинали и спотыкались
на каждом слове. В уютном шуме
за стенкой бубнили про апокалипсис
и долго шуршали шубами.
То ли от страха, то ли от гордости
она останавливалась на пролете
и говорила: «Когда соберешься в гости,
не рассказывай папе и той, другой тете...»

...Ночью душно даже с открытой форточкой.
Из-под курток в прихожей торчат не вешалки, а рога.
Часто-часто по сухой и шершавой жердочке
перебирает лапками попугай.

Две ягоды

1

Отрок взобрался на дерево,
старую заповедную вишню,
на сто девяносто шестой странице
Псалтири Латтрелла;
забрался и не замечает
садовника, караулящего внизу
с неизбежной дубиной,
и нависающих сверху
острым чернильным дождем
готических литер,
но, сбросив ботинки и ошалев от радости,
набивает щеки, потом — карманы
сладкими-сладкими ягодами...
И ни одной шишки.

Истинно говорят:
*восходят до небес
и низходят до бездн,
душа их в злых таяше...*

2

Между левой стеной и правой,
прямо над теплотрассой,
выросла возле Центра медицинской радиологии
огромная белая черешня.

По местной легенде, кто-то
бросил косточку из окна —
с тех пор и тянется это вредное
«радиоактивное» дерево
выше первого этажа,
где празднуют выздоровление,
выше второго,
где отмывали чернобыльцев,
выше третьего,
где не останавливается обычный лифт,
и четвертого,
самого светлого — и пустого.
И лет, говорят, ей столько,
сколько и мне: много и вечно мало.
В солнечную погоду
ослепляет разлапистая черешня
пациентов изнанкой своих жестяных листьев,
так что некоторые тут не различают —
то ли кружится голова,
то ли дует с востока незлой и обильный ветер...

Жизнь — это бросок костей
с пятого этажа,
но счастье тому,
кто ее попробует.

Нина Александрова

Поверх книжных строк

* * *

когда ты напишешь
вернешься из мира апатии и тоски
транков и нейролептиков
разрезанных рук и слез на ночном эскалаторе
что я скажу
как скучала как думала о тебе
что зависимости не отпускают
насилие просто попытка сбежать от себя
а любовь узнавание собственной травмы в другом

расскажу ли про то
как прикасалась кожей к небу в печатниках
слушала пульс весенней земли на профсоюзной
гладила окаменевшее подземное море на трубной

или
в комнате без окон лягу рядом с тобой
растворять себя в пульсирующей темноте
сливаться с обоями
прорасти через стены пол потолок

никогда не рассказывать
как нежно щебечет расколотый движется лед по москве-реке
как тихо выдохнув лопнули тополиные почки
как влетаешь в рассвет и черные звезды заглядывают в глаза

* * *

люди текут сквозь пальцы как ртуть
потные ладони слиплись срослись
в густой жаре невозможно дышать
тяжелый воздух не переплыть
каскаси ОМОНа как мокрая галька

через стекло долгий тягучий стук
ваши действия незаконны немедленно разойдитесь
в противном случае будет применена сила или
специальные средства

входим в людей как в теплую цветущую воду
дубинки файеры вертолеты
голос из раковины гуденье подземного моря
вода заполняет собою пространство
вода расступается обнимает
главное не вдыхай
не закрывай глаза
не отпускай мою руку

* * *

штормовое предупреждение
не открывай глаза не смотри
минус-ветер в расплавленном воздухе
отчужденный труд выжигает нас изнутри

только тихо пульсирует нежность звенит под кожей
ничего не говорить значит дышать рядом
в информационном пузыре качающемся гнезде
коллективное тело срастается еще на несколько сантиметров
двойной луной сухим человеческим мотыльком

и тогда открывает глаза
в десять метров в секунду
оборачивается день

ветер распался на тысячу прикосновений
листья пульсируют чешуей
стены выворачиваются наизнанку
слишком четкие контуры у предметов

люди выходят на баррикады
скомканными листовками перегораживают Тверскую
автозаки вязнут в словах проваливаются между точек и запятых
на ледяном ветру потрескались высохли губы зачеркнуто буквы
стихи написаны молоком поверх книжных строк

* * *

в воспоминаниях риты райт-ковалевой
есть одно которое не отпускает меня никогда
еще в пору студенчества
она со товарищи отправилась в фольклорную экспедицию
а может антропологическую экспедицию
а может искать двери в мир мертвых
стучатся в черный вигвам
внутри невозможности языка
и с ними был хлебников

так вот на пути они останавливаются на ночлег
в случайном доме у случайных людей
всех положили на сеновале
поверх горы сена под окошком под самой крышей
рита райт просыпается ночью видит
в оконном проеме огромная бронзовая луна
свесив ноги на улицу сидит хлебников
она спрашивает велимир что с вами
он отвечает
завтра утром пойдем по болоту наберем воды вскипятим
будет суп из микроорганизмов

на этом месте история заканчивается но в своей голове
я всё время слышу тихий вкрадчивый голос

чувствую маленькую жизнь под ладонью
маленькую жизнь внутри тухлявых больших слов

пока я сплю планета движется вокруг солнца
что-то шевелится в теплом ее животе
внутри каждой истории каждого стихотворения

на болотах зреют ягоды рассеянных смыслов
в супе кипят микроорганизмы эволюции и языка

* * *

стоим с плакатами
идем в колонне демонстрантов
кричишь в мегафон
поднимаю бульжник
поваренная книга анархиста
шоплифтинг сквоты коммуны
кормишь завтраком пока верстаю листовки
пишешь заявку на митинг
сiju с ней в министерстве безопасности
разворачиваю плакаты перед ментами
проверяешь не забыла ли бейджик организатора
грею твои окоченевшие руки
приносишь на митинг термос с горячим кофе
биться лбом в глухие ледяные стены
отчаиваться плакать опускать руки
быть слабыми маленькими вдвоем
умирать не сдаваться
борьба боль преодоление усталость
это и есть секс
это и есть любовь

* * *

стихи про любовь
не к мужчине
безо всякой эротики
без секса и объективации
к сестрам
к каждой женщине
твоему зеркалу
такой же уставшей грустной больной
такой же беспомощной тихой плачущей по ночам
про любовь
к каждому маленькому беззащитному живому
ведь есть же специальный бог
для маленьких беззащитных живых
про любовь
к себе самой

* * *

не могу дышать это страх
смерти или большого чужого
прикосновения обладать
поглотить растворить

собирать себя каждый день
с утра привинчивать пальцы
защелкивать грудную клетку
открывать глаза делать вдох

тремор пространства множество отражений
так много меня и все смотрят насквозь
проходят насквозь не выдыхая

мои сестры кости и кровь коллективное тело
сильные и прекрасные мертвые и живые
боль одна и дыхание одно на всех

* * *

1

нежно глажу руки
на них родинки и волоски
поры и линии кожи
полосы шрамов как густая трава
как полосы на шкуре тигра

2

вот на предплечье четыре глубоких
а этот прозрачный на самом запястье
а этот похожий на перевернутую букву г
и этот шрам на правой руке

чтобы выпустить дурную кровь
резала камнем/ножницами/бритвой/ножом/бумагой
потом неловко срослось
долгие бордовые линии
похожи на вяленое мясо
воспалились и не заживали
но в тот раз я осталась целой

3

мелкие шрамики
вертикальные и горизонтальные
покрывают руки со всех сторон
плотно охватывают как кора дерева
ничего не помню о них
кроме того что за каждым боль
физическая только чтобы
зафиксировать реальность
той второй и себя в ней

4

в санкт-петербурге есть татуировщица
которая бесплатно забивает такие шрамы
на фотографиях ее работ в соцсетях
насекомые и мертвые птицы
поверх боли и самоповреждений
поверх попыток выцарапаться
из слабой пустой оболочки

5

есть негласное правило
нельзя резать очень заметные места
боль нельзя показывать
никто не должен видеть как ты справилась
резать нужно живот
внутреннюю сторону бедра или предплечья
потому что никто не хочет знать
о боли и смерти
слабости и страдании

клинопись на коже чтобы никогда не забывать
зарубки чтобы не заблудиться в этом лесу
черточки чтобы отсчитывать дни

* * *

если боль у тебя одна
ты остаешься одна
бродить в лабиринте своей головы
в зарослях черной травы
пепел на пальцах
снег на лице
ничего не будет в конце

* * *

тело мое река
раковина вода
галька песок и мох
тянется и скользит

вижу как в первый раз
трогаю осторожно
кожура
тонкая кожа

глухо бьется в виски
сердце дыхание звук
тело мое вода
тело мое всегда

* * *

1

мать:
ты лишь моя часть
я мать я власть

я говорю с твоей пустотой
я говорю сама с собой

не смотри на меня
спи закрывай глаза

дочь:
каждую ночь каждый раз
ночь на изнанке моих глаз

я не говорю с тобой
это говорит моя боль

мой страх темноты
мой страх что я ты

2

утром открываю глаза
внутри и снаружи темнота

помню всех кто исчезли в ней
этих людей больше нет

смыло ливнем разметало ветром
были ли они на самом деле

3

вот тетя Дина сурьмит свою
фамильную родинку во лбу
баба Нина жена дипломата
проведшая полжизни в Индии
кормит печеньем на смальце
среди полированных деревянных слонов
качает ногой в вычурном сабо
бабушка Поля просит купить халку
за непослушание обещет нататакать
мыться не буду стану слишком чистая сороки утащат
рассказывает про сожженный во время гражданской дом
и с ним огромную семейную библиотеку

4

семья как намокшая бумага
рвется растворяется исчезает
генеалогические деревья
роняют плоды осыпают листья

раскулаченные когда-то
депортированные на Урал
вырванные с корнем
от своей земли мертвецов речи памяти

в большой пустоте не на что опереться
конструируя идентичность пальцы проходят насквозь
идешь через черный лес как Василиса
с пылающим черепом в онемевших руках

* * *

вот смерть проходит мимо левого плеча
вот смерть проходит мимо правого плеча
а ты стоишь и плачешь плачешь плачешь пла

вот обнимает тебя сзади и молчит
стоит за мной и дышит и молчит
в затылок дышит дышит и молчит

Софья Александрова-Оршатник

Стихотворенье из земляники

* * *

Ей передали целый таз хурмы.
Медбрат принес, спрашивал: не ваш ли?..
Давиться нелюбимым словом «мы»,
Проглатывать и кашлять, кашлять, кашлять.
Такая сказка: кто-то где-то слег.
Неясный кто-то, кто-то андрогинный.
Улыбчивое слово «королек»
Не помогает справиться с ангиной,
Которая «у-кошечки-боли»,
Которая Ангина-Антигона,
Жена-Больна, Ангина всей земли,
Больного нёба, спального вагона,
Бросавшая хурму в больничный сад...
Они давно закончились друг в друге
И развестись хотели год назад,
Но — таз хурмы и общий дом на юге,
Матрас, навес, к обеду клонит в сон,
Копченый сыр, полусухие вина.
(Он возмущался: в бархатный сезон
Она сумела подхватить ангину!)
Потом была недолгая зима.
(Он даже думал заново жениться.)
А по весне не выросла хурма
Под маленькими окнами больницы.

Аборигенка Ялты

Вот существо: mantis religiosa
Внезапно приземляется на стол.
Который день не удается проза,
И головой качает богомол.

Скажу за тайну, каждый первый пишет.
Готовят суп. На пледе месяц вышит.
В бокале чахнет «Крымская лоза».

Друг-стихотворец, до сих пор не дал ты
Ни пятака аборигенке Ялты,
Совсем по-скифски щурящей глаза.

Аборигенка ловит богомола
На старый «Филипс» или «Моторолу».
Цвет профиля напоминает йод.

Здесь каждый первый пишет, а девица
Готовит суп из черной чечевицы
И за пятак приезжим продает.

* * *

я замолчавший краденый кларнет
на холоде сдыхающий мобильник
искр электричества за шиворотом нет
как будто кто-то выключил любильник
эх шапки в снег динамик черный жги
меня как масленицу рок-н-ролла на смех
любимый мой давай играть в снежки
не в детские в другие чтобы насмерть
давай сдадимся местной голытьбе
чтоб выбивали дурь и альтер-эго
в каком сосуде будто не в себе
я вырастила столько снега?

* * *

Стащила у брата пластинку БГ —
Пока непонятно зачем.
Рябиновый лист прилипает к ноге,
Гитара висит на плече.
Квартирники, песни моих seventies —
А впрочем, пустая возня.
Прилипший к ботинку рябиновый лист —
Ни сбросить, ни стронуть, ни снять.
А брат в полушубке и берцах ч/б
На маминой полке возник:
«БГ и битлов я оставил тебе,
Другие... ты тоже возьми».
Песчаный «Икарус» ушел на восток
Надежной таежной грядой.
Заело пластинку, как будто водой
Плюется кривой водосток.

* * *

а среди остальных богородиц
светлый образ которых един
у нее родился уродец
сизолицый картофельный сын
обувала кургузые ножки
а мерещились ей костыли
закопала младенца в картошке
в том же месте в котором нашли
мой сыночек звоночек хороший
и картофельным полем ушла
в борозде завязали калоши
зацеплялся за стебли бушлат
здесь не помнят событий и чисел
не грустят никогда ни о ком
но запрыгал-посыпался бисер
да по красным углам из икон

Из земляники

Я собрала в саду стихотворенье
Из земляники. Мама, поддержи
Его в руках хоть чуточку! В варенье
Кладешь полночных яблок падежи,
Увы, стихи не сахарно-янтарны,
Неизмеримы их объем и вес.
А я тебя люблю эпистолярно,
Что означает пару эсэмэс,
Нет, пару яблок, падающих в лужу,
Что не сгодятся даже на компот.
А ты готовишь на террасе ужин,
Варенье на плите произойдет
Из яблок, чьи неожиданные удары
В полночный час отчетливо тихи.
Я до сих пор не отыскала тары,
В которой бы произошли стихи.
Недолго их в ладонях поддержи-ка,
И ты поймешь — по солнечным холмам
Растет-растет такая земляника...
Я покажу тебе, ну правда,
Правда, мам.

Комариная элегия

В железной чашке плавают чаинки,
Кусок фольги, четыре комара.
Молиться солнцу? Мы-то, чай, не инки —
Оно не всходит месяц-полтора.
Смотреть на небо и молиться Богу,
Он поголовно всех тут наказал
Шугой, пургой, полярной безнадегой,
Велев креститься на ж/д вокзал.
Задерживая клетчатые шторы,
Свезя ногой узоры на ковре,
Окурок затушу о День шахтера
В настольном отрывном календаре.

А я отсюда всё-таки уехал.
Сто сорок раз. Нет, тысячу! Во сне.
По Первому поет Эдита Пьеха,
В кормушке птичьей серебрится снег,
К столовой ложке прилипает тельце
Помянутого выше комара.
И я подумал: все мы здесь сидельцы,
Сидельцы на диване у ковра.

Романс

На болотах лежит постаревшая мать Семёра,
Магистраль номер семь, федеральная трасса М7,
Где в канун Рождества пресловутые свечи мотора
Зажигаясь, горят, но горят почему-то не всем.

Замыкает Семёра развязки дорожных объятий,
В неживой колее, в снежной каше, в холодной грязи
Под колеса летит Санта-Клаус в свалявшейся вате.
Я хочу танцевать! Тормози, тормози, тормози!

Я хочу Рождество, торжество ледяного осколка,
И когда темнота поцелует меня не при всех,
Не забудь попросить придорожную пыльную елку,
Чтоб оставила мне к Рождеству золоченый орех.

* * *

Больше других полюбил	непокорный поэту гекзаметр
Жуков Геннадий, почивший	в горячих песках Танаиса,
Он из земли в небеса	заозерными смотрит глазами,
Будто щегол золотой	из большого куста барбариса.
Ночью приходят к могиле	слепые античные волки,
В их же числе и волчица,	вскормившая Ромула, плачет,
Чье молоко ароматней	и крепче «Слезы комсомолки»,
Веничка, выпив его,	утолил бы душевные все недостатки.

Баллада

Мы жили с сестрицей в избушке у склона.
Кудесник бродячий предрек:
«Ты встретишь дракона
У черного клена
В кольце непроезжих дорог».

Я в страхе отпрянул: «Не лжешь ли, бродяга?
Так знай же, неведомы мне
Ни ум, ни отвага.
На землю я лягу
И мигом погибну в огне.

Мне биться с коварнейшим ящером нечем,
Крестьяне мы, старче! Взгляни:
В чулане есть свечи,
Варенье и лечо,
Дубовая кадка квашни».

Кудесник отвечивал: «Есть еще время,
Иди на край света, найди
Лощеное стремя,
Меч, проклятый всеми,
Доспехи с луной на груди.

Я вслед за кудесником вышел из дома,
Ни сумки, ни фляги не взяв.
Сухая солома
Во рту чернозема.
Объятия скошенных трав.

Кудесник отправился дальше, к востоку,
А я собирался на юг.
Воителя-бога
Горячее око
Из облачных выпало рук.

Три года я шел по степи первозданной,
Три года горели леса.

Питался я манной,
Ночной и туманной,
Ветров понимал голоса.

Прошел еще год, и я стал слышать камни
И даже звериную речь.
Горами-долами
Лиса принесла мне
В зубах зачарованный меч.

Возможно ли нынче с драконом сразиться? —
Пять лет вопрошал я судьбу.
Мне встретился рыцарь.
Он видел сестрицу
И старую нашу избу.

Девушка распутная с нами плясала.
Полгода в стенах кабака.
Есть пиво и сало,
Табак и кресало,
Сражаться не стоит пока.

Полнела неделями девушка наша,
От рыцаря дочь родила!
Эх, полная чаша,
Тарелка да каша!
А мне — трын-трава да зола,

Проселки да елки, дубы да орехи,
Да тысячи верст впереди.
Дорожные вехи.
Найду ли доспехи
С блестящей луной на груди?

Решил ободрать я в поселке лещину,
Был голоден — сил моих нет.
Вдруг крикнул мне в спину
Огромный детина:
«Иди отработай обед!»

Семь лет подмастерьем я цехе кузнечном
Трудился, как будто юнец.
Но время не вечно.
Подарок сердечный —
Доспехи — вручил мне кузнец,

Налил на дорожку последнюю кружку.
Поселок исчез вдалеке.
Блестящее ушко,
Лощеная дужка —
То стремя лежало в песке!

За дикими следовал я жеребцами,
Бежали они от меня,
Я прятался в яме,
Но понял с годами,
Что справлюсь один, без коня!

Еще двадцать лет умудрился блуждать я
Среди водопадов и скал.
Рвалось мое платье,
Мой меч рукоятью
Следы на земле оставлял.

Блистали плеяды в небесной короне,
Настала зима, я продрог,
И ворон на клене
Кричал о драконе
В кольце непроезжих дорог!

Я понял его, приготовился к бою,
Я ждал, что уснувший дракон
Почует живое,
Посыплется хвоя,
Что треснет испуганный клен.

Но было так тихо, печально и глухо,
Качалась трава на ветру.
Лишь ныла, как муха,
Под кленом старуха,
В которой узнал я сестру.

И вдруг принялась она всхлипывать чаще,
Седой не подняв головы:
«Лет десять как ящер
Сыграл уже в ящик,
Тебя не дождавшись, увы.

Мой братец, которого я так любила,
Среди узловатых корней
Неделю я рыла
Драконью могилу.
А вот и твоя рядом с ней.

Я думала, ты не вернешься оттуда,
Оставишь наш северный край.
Бульжника груда,
Доспехи, посуда.
Что смотришь? Ложись. Умирай».

Евгения Баранова

Кто на фотоснимке?

Хвоя

Я вот всё думаю: сосны ли солнце казнят?
Кровь или краска дрожит на зеленых заборах?
Матушка-хвоя, возьми мое тело назад,
плечи укутай в коричневый шелест и шорох.

Элином дивным воспрянь над моей пустотой,
слизывай глину с ногтей одичавших пожарищ...
Кем бы ты ни был, деревья придут за тобой.
Что, кроме плоти, ты нежному лесу подаришь?

Бронза и уксус, художники и корабли...
Все исчезают, хотя заслужили иное.
Я вот всё думаю — долго ли, коротко ли.
Не отвечает медовая матушка-хвоя.

* * *

Что будет, если я тебе скажу,
мол, катится сентябрь по этажу,
в капрон скрывая ласточки лодыжек?
Тепло уходит, мало ли нам бед,
зато приходит маленький сосед,
раскутывает маленькие лыжи.
Консьержка заменяет сухой
на астры, в их строении простом
присутствует желание пробиться.

А я скорее бархатец. В дожди
я погибаю с легкостью в груди,
подобно миллионам чернобривцев.
Отставить меланхолию зовут
день города, день выборов, салют.
Оставим их для грусти разрешенной.
Что будет, если я тебе солгу,
мол, солнце не останется в долгу
и вытеплит ложбинку для влюбленных?

* * *

Где же всё, что мы любили.
Где же всё?
Земляника в горьком мыле,
шарф с лосём.
(Лосем, лосем, так учили
в третьем Б.)
Кто остался — А. в могиле —
на трубе?
Буквы долго руки мыли,
ка-я-лись.
Не пересеклись прямые —
пресеклись.
Заливало солнце кашу,
жгло сорняк.
А теперь команда наша —
ты да я.
Не кузнечик ждет за печкой —
мертвецы.
Что рассказывал о вечном
Лао-цзы?
Кто там, кто на фотоснимке
в Рождество?
Зайки, клоуны, снежинки. —
Никого.

* * *

— Что за холмик на картоне?
нарисован как?
— Это леший пни хоронит
в юбках сосняка.

Как схоронит, на поляну
вынырнут свои —
дятлы, иволги, жуланы,
сойки, соловьи.

Как запляшут для потехи,
как возьмут в полет...
Плащ полуденницы ветхий
огоньком мелькнет.

Выйдет в косах, выйдет в белых,
поцелует в лоб.
И останется от тела
кожаный сугроб.

Мунк

ни слова ни любви не говори
налим в сети и яблоко в налив
ни жестом ни движением спины
ни способом заслуженно иным

не надо ни поэзии ни По
ни господ в тельняшке самого
оставь меня пустынной дождевой
оставь меня не встреченной тобой

игрушки спят убийцы доктора
из рыбы спит изъятая икра
и сердце спит на дребезгах помех
спокойной смерти каждому из всех

* * *

Поезд дальше не поедет.
Просьба выйти из вагона.
Чай, не маленькая. Чаю!
С медом, с мятой, с молоком.
Черепна моя коробка.
Тяжела моя попона.
Кто там щелкает грозой?
Кто хрустит дождевиком?
Кто мелькает в сиплых тучах,
притворившись гражданином
с нижней лестничной площадки?
Или, скажешь, не похож?
Поезд дальше не поедет.
Забирай свое, рванина.
И вот этого Ивана,
и Степановну — под дождь.
И пошли они отрядом,
кто с пакетами, кто с внуком,
кто с тележкой продуктовой,
кто с ровесником вдвоем.
И остались только пятна.
И осталась сетка с луком.
И остался тихий поезд
под невидимым дождем.

* * *

Не смей — не смей, не говори,
покуда красота
ползет от Рима до Твери,
от круга до креста.
Щербатый дождь башку расшиб
о каменный живот.

Здесь всё вода, кумыс-кувшин,
здесь всё водопровод.
Вода поет, вода прочтет,
вода тебя простит.
Живая хмарь, живой расчет,
живой надежды щит.
И рыба — рыбе, и звезда,
и жгут насквозь лучи.
А ты молчи, пока вода.
Пока живешь, молчи.

Автомобильное танго

По вечерам над автостанцией
рекламный отблеск белых ламп
манит неоновыми танцами
автомобильные тела.

У Citroen'а профиль глупенький,
таким, как он, везде уют.
Вокруг такси снуют голубками,
деньгу по зернышку клюют.

Renault ревнует к обилеченным:
— К чему автобус, если я
вас отвезу туда, где женщины
матросам лепят якоря,

туда, где море не кончается,
где чебуреки в пол-лица...
Но вот автобус просыпается
и прогоняет наглеца.

Трусит «газель» лошадкой пегою —
кто в дом, кто в храм, кто по грибы.
Не доберемся, так побегаем
от догоняющей судьбы.

Бегония

Просишься не допросишься пламени у Антония.
Будут ли приключения, — спрашивает блокнот.
В теле твоём прикаянном ищет окно бегония,
то отцветает истово, то без ума цветет.

Ты ли еще актерствуешь или спрямили ластиком,
контуры проработали — радуйся, не исчез.
Не опалает вовремя — может, расскажешь басенку,
спляшешь почтенным гражданам, выпьешь за поэтесс.

Кто, Расскажи, завидовал, что пролетает мимо, мол,
кто запирал растение в прутьях своей груди.
Черное, злое, лютное, солнечное, любимое,
не проходи, пожалуйста, только не проходи.

* * *

Она произносит: лес.
Сергей Шестаков

Он произносит, и происходит шум.
Цапелька-искра роется в облаках.
Капли туристов перетекают в ГУМ.
Лобного платья вспыхивает рукав.
Он произносит, и наступает жар.
Влажными пальцами не оставляя след,
сны собирает — или приносит в дар
чабер, лаванду, клевер и бересклет.
Он произносит, и вызревает день.
Это ведь просто — дни пришивать ко дням.
Выгладить реку, пересадить сирень,
клипсы акаций в мелкий ручей ронять.
Он понимает, мало в тебе огня.
Ходишь вдоль клетки, разыскиваешь ключи.
Вдруг выдыхаешь: «Отче, помилуй мя»,
но никакого звука не различить.

Песенка для Ани

Водянистей водянистого,
чтоб присниться дураку,
дождик серенький посвистывал
недоребрием в боку.
Лужа в небо смотрит лошадью,
от весны произошед.
Дождик кажется хорошим ей,
потому что ливня нет.
Улизнет мокропогодица —
над Вероной моросить.
К сожалению, не водятся
в лужах принцы-караси.
Из-под стеклышка столового,
каблуком рассечено,
на Москву глядит суровое
достигаемое дно.

* * *

Не для счета, не для денег
в луковице дня
жил какой-то неврастеник,
не было меня.
Собирал ошметки звуков,
с мразью выпивал.
Он бубнил, шипел, мяукал —
никому не лгал.
Трехколесен, многоушен,
шестипал, умен,
был он ровен, был он душен,
я совсем не он.
Он бы рифму с ходу выпек,
продал большинству.
Ну а я купаюсь в гриппе.
Начерно живу.

* * *

Туда, где кормят гречкой,
где жердочка тонка,
стирает человечка
тяжелая река.
И линиями ножек
и кляксой головы
он хочет быть продолжен
такими же, как вы.
Он хочет быть повсюду.
Упрятаться, живой,
за бабкину посуду,
за шкафчик угловой.
Работать на контрасте.
Плясать издалека.
Но не теряет ластик
волшебная рука.

* * *

Переводи меня на свет,
на снег и воду.
Так паучок слюною лет
плетет свободу.
Так улыбаются киты,
когда их будят.
Так персонажами Толстых
выходят в люди.
Переводи меня на слух.
Из школы в школу.
Так водят маленьких старух
за корвалолом.
Так замирает над гудком
автоответчик.
Переводи меня тайком
на человеческий.

Дом на набережной

Время уходит.
Время.
Время всегда уходит.
Девочками на пляже
просит не провожать.
Путается в тельняшке тканевый пароходик.
Падает на лужайку чистый чужой пиджак.
Дети кремлевских спален слушают пианино.
Радионяня Сталин ловит остывший дым.
Время летит над всеми набережной недлинной.
Время летит над нами Чкаловым молодым.
Фабрика-комсомолка не выключает примус.
Главная рыба рыщет, маленькая клюет.
Скоро шальную шею у головы отнимут.
Синий платочек треплет радуга-самолет.

* * *

Несоответствия зимы,
ее пронзительная прелесть
в пересечении прямых
под снегоборческую ересь,
в натертом дочиста окне,
в непротивлении грязице,
в ботинок хриплой болтовне
с неопалимой голубицей,
в коротких встречах, в огоньках,
в морозной памяти подъезда,
в снежинках, снятых с языка,
не успевающих исчезнуть,
в таком немыслимом, простом,
в таком забытом, изначальном,
как будто перепутал дом,
а там встречаются.

* * *

Поэзия есть Босх. Не смей в нее литься.
А если и сбежишь, не притворяйся зрячим.
Я маленькая мышь, в кармане у меня
собачий поводок, растерянность и мячик.

Поверх пальто — горит (я слабый, слабый, слаб...).
Всей пятерней держу — вдруг легкое задето —
Поэзия есть хруст, и храбрость, и нахрап,
а я ни полстроки не понимаю в этом.

Чей красный сапожок виляет к гаражу?
Обида чья скулит? Кто в окнах роет норы?
Я тонкая доска — и я не удержу,
когда по мне стучат гневные разговоры.

За что? за что? за что? Я штольня, что ли, вам.
Я маленькая тень от профиля большого.
Поэзия есть схран. Поэзия есть хлам.
Поэзия есть плен непойманного слова.

Наталья Белоедова

Между здесь и там

* * *

я учила узбекский язык с первого класса
как сейчас помню қалам — это карандаш
дафтар — тетрадь
мама пыталась играть на созвучии слогов
қа-лам — говорила — дочка қа-лам
я сползала под стол
узбекский мне давался сложно
ширин — сладкий
мевалар — фрукты
не все слова были так сладки и так благозвучны
сейчас я знаю исключительно пару матерных слов
и отдалено понимаю разговорный
а мама действительно старалась
қа-лам — говорила — дочка қа-лам

* * *

а я и не расскажу
о том
что яд просочился
в мою кровь
стал моим потом
стал моими слезами
я и не расскажу
что вместо слов

у меня ужи
связки черных колючих ужей
связки черных шипящих ежей
я и не расскажу как сны омертвели
реки обмелели
птицы пели пели
да выпали из гнезда
я и не расскажу о том
что вместо стихов у меня проза
вместо жары гроза
вместо сердца
вместо сердца сидит стрекоза
бескрылая черная стрекоза
и ошарашено хлопает глазами

* * *

ты знаешь там открыли кафетерий
не кафетерий — больше джелатерий
мороженое делается где
ты знаешь там столы
и люди люди
там пахнет карамелью и ванилью
еще там тихо музыка играет
и часто за стеною дождь стеной
я приведу тебя за этот дивный столик
и попрошу мороженого шарик
и отпущу тот шарик что привязан
тот шарик что покоя не дает
тот шарик что меня так крепко держит
тот шарик что меня ножами режет
тот шарик что отчаянно поет
лети мой шарик в безвоздушный космос
а мы с тобой тут посидим немножко
мороженое с шоколадной крошкой
поговорим подумаем о прошлом
и дальше по делам своим пойдем

* * *

температура тела
поднимается от внешних факторов
чилля штудиирует город
становится артефактом
становится арт-культурой
становится артиллерией
я с виду расплавленная
с каждым днем внутри холодею

* * *

чилля это сорок дней молчания
сорок дней отчаяния
сорок дней пророчеств
я спасаюсь стихами
собираю их днем
но читаю ночью
могла бы спастись снами
но в каждом сне твои лица
умноженные на тысячи
и вода которой не умыться
и камень где слов не высечь

* * *

ритм восприятия
переключается постоянно
вначале понятно
затем странно
затем денно
затем ночью
затем смутно
затем точно

* * *

и стало резко так нехорошо
зашел твой бывший
то есть бывшая
и стало резко
сонно горячо
заговорить хотелось
но не вышло
зашел мой бывший
бывшая была
с ним вместе
путаюсь нет будущая
и мимо рта неслись мои слова
и тут же превращались в чудищ
и вот пора когда не говорят
когда лишь смотрят
только наблюдают
когда глаза и рты и уши тают
и у других
и у меня
и все смешалось
бывшие не мы
и будущие
и ненастоящие
и в этом всё какой-то смысл был
и слышен глас
отчетливый звенящий

* * *

ты — это здание со стульями, стенами, переходами.
ты — это город, где всякого много народу.
ты — это страна, где степи и горы. преимущественно степи.
ты — это шире и выше. больше и больше.
земля бирюзового цвета.
ты — это свет и звук. звук и свет. свет и звук.
ты — тот, кого не было, а теперь тут.

* * *

настроение как в море
на самом дне
я подобна морской звезде
красной коралловой немного колючей
не плачущей и не плывучей
тихой звезде у которой ни дел ни времени
нет опозданий нет имени нет племени
есть только море огромное море всюду
красное тело
пусть красными мысли будут
море в ответ укрывая становится красным
всё не напрасно поверь мне всё не напрасно

* * *

Будто и не было его никогда.
Была вода, и ушла вода.
Только соль.
Только горсти белого льда.
Белые слезы.
И корабль,
как полупьяный и как немой.
Он не держит курс, не спешит домой.
А стоит на дне
и не может петь.
Может, это смерть?
Обойти полсвета
и вновь прибыть
в невозврата точку
с командой «Плыть»
и с желаньем жить,
начинать с нуля
и кричать: «Земля»!

* * *

окно в автобусе подобно
отражению
зеркало в котором пассажиры
облака залитые алым
деревья с белыми стволами
узоры от мороза меняющиеся каждый километр
тонкая грань между здесь и там
до и после
было и будет

* * *

во главе угла стол
во главе стола отец
во главе отца — род
а не наоборот
и я живу так
во главе меня род
во главе рода — свод
во главе свода — бог

* * *

строители строят выше
строители строят чище
строители строят чаще
а ты вдоль реки
вдоль чащи
идешь почему-то тише
идешь свое время слышишь
идешь себе и иди

* * *

ром наполняет рюмку
затем наполняет тело
затем наполняет мысли
сигарета со вкусом
букв и чисел
я не люблю музыку
с тех самых пор
я тишину слушаю
смотрю в упор
я выдыхаю облако
вдыхаю облако
я о тебе думаю
до обморока

Ташкент — Джизак

собрались на вокзале
живые шумные
распахнутые
не для всех уютные
единицам понятные
как нас много!
нас для себя много!
расселись по местам
началась дорога
говорили о жизни
искусстве шахматах
ставили шах ох ах
ставили мат ох ах
а вдоль полосы железной
неслись километры соли
словно кто-то взял и перевернул море
или выпил море
или перелил куда-то море
главное — не оставил не капли

•

кроме редких деревьев
саксаул — степная колючка
пару ишаков навьюченных
и бараны
бараны как многоточия
в прозрачной степи
как продолжение страны
как неотъемлемая ее часть

дорога — вот наша участь
бесконечный неизведанный путь

•

а на обратном пути картина меняется
ты смотришь с другой стороны бинокля
в автомобиле водитель врубает музыку
не оглохнуть бы!
стараешься сосредоточиться на пейзажах
колючек уже не видно
зато видны аисты
они вьют гнезда
на столбах электропередач
каждый столб — это карагач
что держит метровые гнезда
птицы покачиваются на одной ноге
засыпают на одной ноге
где они?
нет их нигде!
только по дороге Джизак — Ташкент
пока не сойдут на нет

•

вместо соли вдоль дороги гранаты
желтые бордовые алые
катятся
под колеса бросаются

и брызжет их свежая кровь
омывает колеса
попадает в глаза
останавливаешься
поднимаешь пару
куда же вы катитесь
куда же вы?
держишь в руках по гранату
держишь сердце под кожей
говоришь привет саксаулу
говоришь привет
метафизическим карагачам
говоришь привет степи
говоришь себе сам
Джизак — Ташкент
Ташкент — Джизак
ты как?
гораздо лучше!

* * *

Диски и книги — это всё, что осталось от отношений.
Воспоминания на диск,
слова — в книги.
Ты стоишь на перекрестке,
с четырех сторон летят машины.
Улыбаешься.
— Я принесла тебе диски!
— Я принесла тебе книги!
— Забери, пожалуйста.
А от нас, получается,
Ничего не осталось.
Мы превратились в компакт-диски.
Мы превратились в книги в твердом переплете.

* * *

а я перечитываю и перечитываю то сообщение
в котором ты приносишь свои извинения
за все свалившиеся беды
за все открывшиеся беды
за всё начавшееся
и закончившееся
за всё сумрачное
и стихийное
за всё нечаянное
и отчаянное
и никак не могу понять
в чем всё-таки смысл написанного?

Андрей Болдырев

Мальчик-с-пальчик с пустым ведром

К фотографии

Не молчу, не скрываю, уже не таюсь,
возвращаясь домой сквозь заброшенный сад.
Наливается яблоком спелая грусть,
так и тянет сорваться к тебе, адресат
этих строк:

Круглобок, убежал колобок
от жены, от детей — и кругом виноват,
оттого у него и помятый видок.
Тут и сказке конец: прикатился назад.
Принимает его, как отраву, жена
и впускает в себя всё его естество.
Только гложет ночами его тишина,
по кусочку откусывая от него.

В телефоне-ракушке рыдает прибор
о русалке, что пеною стала морской.

.....

Обрывается волнообразная речь,
выползает на берег безлюдная ночь.
От ошибок нас некому предостеречь,
от безумия нашего нам не помочь.
Не пойми что за год, не пойми что за век:
вдоль по набережной мы бродили с тобой,
где на фоне угасших во тьме дискотек
вечно царствует палеозой.

Кто-то свыше, позиции определив,
по местам всё расставил: Волошина дом,
где нас выхватил из темноты объектив,
и теперь мы на фото вдвоем,
где за нашими спинами должен быть сад,
и, размытый, стою я не в фокусе на
первом плане, и твой выразительный взгляд
в перспективу, что так неясна.

Пакет

Рылся в коробках, в шкафу обыскался:
фотоальбома семейного нет —
от переездов совсем истрепался,
мама все фото сложила в пакет.

Вот они, снимки, где мама моложе
(держишь в руках ее — руки дрожат),
в этом пакете: где дядя Сережа,
бабушка с дедушкой — рядом лежат.

* * *

Марине

Я помню, как исчезли все с танцпола,
басы колонок стихли за спиной,
как в сердце вновь ожившем закололо,
когда на твой я обернулся голос —
и ты явилась предо мной.

О, если бы мне что-то помешало
прийти туда и если б не свела
судьба нас, ты бы музыкою стала,
не той, что целый вечер нам играла, —
той, что всегда со мной была.

Железнодорожный романс

Она придет с работы поздно,
но проводить не опоздает.
Когда б не пять минут до поезда,
остался б насовсем? Кто знает.

Как в фильмах (в резком замедлении),
ее рука моей коснется —
и всё былое — на мгновение —
романсом пошлым отзовется.

За пять минут натарабаришься:
«Я встретил вас» и всё такое.
Ах, не травите душу, барышня,
багаж мой — книги и спиртное.

И что до сердца вам, где бонусом —
любви большой воспоминания?
Вот скорый зашипел и тронулся
в ночь — не до скорого свидания.

Белый налив

Молодость зеленая — постой-ка,
наливайся соком добела.
...Вместо сада будет новостройка,
заревет бензопила.
Или неминуемая осень
от родных ветвей наверняка
оторвет тебя, ударит оземь
и намнет бока.
Этот вкус забудется едва ли,
кисло-сладкий. Во дворе у нас
падалицу в детстве собирали
на грядущий Спас.

* * *

не горизонт а среднерусская
необозримая тоска
в густом саду тропинка узкая
и легкий дым от костерка

жизнь веточкой в руках сломается
сгорит и превратится в прах
и дым всё выше поднимается
и мы от дыма все в слезах

идем сквозь сад из рая нашего
в пути не разнимая рук
куда любимая не спрашивай
не оборачивайся вдруг

* * *

Как бельмо у города на глазу,
старый дом стоит на юру.
Я воды из колонки домой принесу,
будет мама купать сестру.
Я большой совсем в сапогах отца,
на затылок ушанка сползла.
А собака соседская из-за угла
и рычит, и бросается.
Плачь не плачь — иди за водой давай.
Нет к колонке другого пути.
Мама станет ругаться: ты где ходил?
Хоть за смертью тебя посылай.
А собака лохмата была и зла,
но куда-то пропала потом.
Я за смертью ходил, я глядел ей в глаза,
мальчик-с-пальчик с пустым ведром.

В парке им. Первого мая

Небес на сумеречном фоне —
как будто много лет назад —
закрытые аттракционы
печально на ветру скрипят.
Февральский зажигает вечер
сырой фонарь над головой.
Снежинки кружатся навстречу —
и я один иду домой
вдоль облупившихся фасадов,
в ночную темень вперив взор,
а за чугуною оградой
белеет Знаменский собор.
Выходят люди из собора,
где раньше был кинотеатр
«Октябрь». Когда умолкнул хоры
и ангелы уснут, хотя б
на час побыть опять ребенком
и вместе со своим отцом
прийти сюда смотреть «Кинг-Конга»...
...Вот оборвалась киноплёнка,
а мы еще чего-то ждем.

Комар

Всю ночь терроризировал комар,
летал над ухом, словно истребитель,
терзая слуха моего радар,
мучитель.

Чтоб дать отпор достойный наглецу
и, так сказать, изгнать его из рая,
я бил себя с размаху по лицу,
по комару, увы, не попадая.

Как будто с корнем мирового зла,
я бился насмерть с этим гадом,

покуда ты, любимая, спала,
цела и невредима, рядом.

Но, выйдя из проигранной войны
под утро обескровленным, разбитым,
я спал и наконец-то видел сны.
...А на стене сидел комар, довольный, сытый.

Лицейскому другу

Возьми такси до Луначарского...
В. Косогов

Пойдем по улице по Ленина,
вдоль развлекательнейших комплексов,
где с пожилыми джентльменами
гуляют девочки без комплексов.
Я рад, что в этом бестиарии
найдется место нам, что есть и
места, где могут пролетарии
присесть, и заказать по двести
грамм — под селедочку — «Столичной»,
и выпить, как во время оно,
за Гнойного, за рэп античный
и за стихи Оксимилона.
Но если гнаться за признанием
и петь под дудку ляжет карта,
гори оно всё ярким пламенем,
как небеса над драмтеатром,
где Пушкин воздымает голову,
забронзовев, и, вне политики,
срать на него хотели голуби
и на собравшихся на митинге.
А мы с тобой за всё хорошее,
за удаль времени гусарского
отъедем безвозвратно в прошлое,
возьмем такси до Луначарского.

Ненаписанным стихам

Простите, что я вас не записал,
когда ко мне толпой вы приходили
незванные, когда я крепко спал,
когда — за вас же! — мы с друзьями пили.

Как вы честны, чисты, не измарав
собой листы, не становясь стихами,
как облака — легки. Как я не прав
был перед вами!

За вас! За тех, которые вовне
не вырвались, когда я мутным взором
в ад близких провожал, оставшись мне
безмолвным силлабическим укором.

Из старых тетрадей

На Херсонском кладбище при церкви Всех Святых
он курил у Богдановича могилы
в окруженье нас, беспечных, молодых,
под надзором пристальным супруги милой,
и, казалось, думал: «Эк меня и занесло»,
а его верблюжки губы чуть дрожали.
Так дорогой в Царское село,
сидя на саях, размышлял Державин.
Он приехал в Курск до неприличья стар,
говорящий памятник, свидетель акмеизма,
честно отрабатывая скромный гонорар
байками про Бродского, стихами и харизмой.
Всех благословляя, когда обратно уезжал.
Через годы, через расстояния
руку бы пожать его, что так и не пожал:
побоялся разочарования.

Послание друзьям

Пустая тара, пачка сигарет
на подоконнике. Окно во двор детсада.
Вот Ходасевич — да, а Слуцкий — нет,
не интересен никому. Досадно.

Читали наизусть, поддав слегка.
Вот Слуцкий — нет, а вот Поплавский — кстати.
...А в небе плыли, плыли облака,
как лошади, рыжея на закате.

А то купили б сладкого вина,
позвали бы девчонок, всё такое...
Бог с ней, с поэзией. Но если б не она,
когда еще так собрались бы трое?

Ночное купание

Владимиру Иванову

Приняв на грудь у водоема,
на ощупь в воду мы зашли —
и тотчас стали невесомы
и оторвались от земли.

В глубокой тьме и в звездной пыли,
в открытом космосе вдвоем
за горизонт событий плыли,
за наших жизней оком,

за ту черту, где берег виден
и лодка старая, — туда,
где из воды сухими выйдем
иль в воду канем — навсегда.

* * *

Я проснусь оттого, что мне ночью звонят,
в трубку хрюкают, воют, мяучат, рычат.

— Заходи как-нибудь, — говорят мне, — в лото
да в картишки сыграешь с нами,
коньяку дорогого попили б, а то
что ты маешься целыми днями.

— Заходи, — говорят, — мы накрыли на стол,
зеркала занавесили, вымыли пол,
перемыли тебе все кости:
ждем тебя, дорогого гостя.

— Обязательно, — я отвечаю, — зайду.
Может — в следующем, может — в этом году.
А потом с боку на бок всю ночь напролет
я кручусь: жизнь веревочку вьет.

Михаил Бордуновский

Выстрелы

* * *

Долгий-долгий июнь. Не оборачивайся, не кричи.
Школьные праздники, юноши, теплые поручни,
Вечный студент напротив спящего мотылька.
Мне не нужна ничья, даже твоя рука.

Третий трамвай приедет, красною станет кровь.
Что-то помимо времени капает из часов.
Это облако? Это зеркало. Это строка стиха.
Это яблоко? Это эврика. Метрика мотылька.

Государство свечного воска и запрещенных книг.
Что-то острое — вроде возгласа — просится на язык,
Что-то взрослое — одиночество — прячется у ворот.
И никак не настанет в квартире ночь, но и утро не настает.

Если девушки — то видения за секундами встречных рельс.
Я, как мальчик, залез на дерево, только некому крикнуть «слезь!».
Да не плачь ты, дурак, о несказанном, о невысказанном не плачь.
Это выстрелы? Это выстрелы. Это Таня и Танин мяч.

Не вникайте, что нет спасения; не-спасения тоже нет.
Написать бы стихотворение, будто мне девятнадцать лет,
Написать бы роман про истину... Боже правый, не написать.
Это выстрелы? Это выстрелы. Это выписано в тетрадь.



посв. Милораду Павичу и прочим

Камни катая во рту, можно выучить сербский.
Так ненароком оставишь
Белграду сердце.

Дети на шахматной карте испуганы взрослыми —
Звук оторвется от тела Республикой Косово.

Где мне — бежать от пожара мостом Неотпущенных?
Все переправы заполнены черными тучами.

Все перевалы раздавлены серыми птицами.
Нет, не рифмуйте «столица», рифмуйте «молиться»!

Если откроешь столицу — хоть рифмой, хоть картою,
Сразу поднимется стая, над крышами каркая,

Сразу опустятся бомбы, как мелочь для нищего.
Где мой язык запечатан — поди отыщи его!

Как мне дойти до Балкан из пристанища русского?
Каждый крючок на бумаге —
спусковой.

Если граница — место, где мы умрем,
Каждая книга становится словарем.

Библиотеки долго и зло горят,
Каждая книга — Белград.

Каждая книга — снаряд, если книгу жечь.
Вечность. Еще один день, которому не истечь.

Бомба ударится в пашню — и бомбы нет.
И взойдет под солнцем самый красивый цветок.
Это ли край, где каждый святой — поэт
И каждый поэт — святой?

* * *

Архангел Михаил сидит на краю крыши
провинциальной пятнадцатизатжки, кусая хлеб.
Архангелу Михаилу слышится голос свыше,
говорящий, что он, Михаил, — слеп.

Битвы с загробным бароном фон Унгерном не влияют
на повышения.

Архангела Михаила некуда повышать.
Отработав день, Михаил спешит к себе на улицу Ленина,
жарит хлеб, сёрфит сайты, ложится спать.

Иногда барон зовет Михаила выпить,
поговорить о востоке, Будде и просто так.
Михаил спускается на минус пятнадцатый, сделав вид,
что он местный житель.
Барон достает бутылку, две стопки, нюхательный табак.

На следующий день Михаил не выходит на службу,
фон Унгерн утром не едет встречать полки.
Михаила весь день выворачивает наружу.
Унгерн ползет за водичкой, думает: «Господи, помоги».

* * *

Рассыпается самокрутка,
До свидания, птица-чайка.
Ненадежного в мире столько,
Сколько в рукописи случайной —

Наискось, посреди страницы,
Никогда не случившись больше.
В клине света пропала птица,
И другая пропала тоже

Из разрушенной водокачки,
Из тоски по другому месту.
И река потекла иначе —
Даже рыбе в ней стало тесно

От себя, от подземной речи,
Страшной радиопередачи,
Но дышать уже было нечем
Там, где реки текли иначе.

* * *

1

я говорю:
не надо пить каждый день,
но когда я выпью,
мне не кажется питье такой уж плохой идеей.

каждая станция заключает в себе ж/д-
вокзал, каждый узор на обоях —
стихотворение.

узнавать тебя — это чистое поле и вагон межевых столбов.
не пиши мне верлибров специально, пиши, только если хочется.
как меня понимают — так пусть и быр-быр-быр,
и всё остальное прочее...

2

посмотри, чего же ты делаешь: я кашляю на стекло,
начинаю брать на себя ответственность, это как кирпичи на ноги.
вирджиния вульф погружается в воду, а мне всё равно,
ты закуливаешь, и я представляю, как каменный уголь
твоего тела
раскаляется в домне.

что мне до разного там жан-филиппа жаккара, литературы
как таковой,
умные книги укладываются спать в вытопленной начерно хате.
сколько писал стихов о воде, и вот вода притекла за мной.
ну хватит.

3

темно-красный уголек в остывшей печи,
ну скажи же мне что-нибудь, не молчи.

* * *

с этой сигаретой ты филиал уралмаша
твое горло где словно клешни грохочут большие станки
твои дыхательные пути по которым льются
тысячи тонн стали
твои легкие
поднимаются и опускаются
тяжело и торжественно
загоняя воздух уральских гор
в доменную печь
алюминиевых крыш
античных колонн
реставрационных работ

твое сердце
электродвигатель вилочного погрузчика
занесенного цинковой пылью
твои вены
график рабочего дня
твоя спецодежда покрыта пеплом

ветер шумит между длинных труб и целует землю
зеленые листики в водостоках
снег на рельсах
цельнометаллические озера

перед горизонтом
шлаковые отвалы
раковые корпуса
до минор на виолончели

вечерами
когда заступает третья смена
паровозный сигнал
гудит
в до мажоре

Маленькая поэма о любви

Посвящается

первое стихотворение

моя любовь помещается
в крышечку от бутылки
в яблоко
в карман для монеток

вот моя правда
я утверждаю
сверхсущную модель себя
в красивой машине на автостоянке
в поверхности пальцев
испачканных мелом и солью
и разрываю твои губы на две половины
каждая из которых — сад плоти
за решеткой тела

гиацинты ирисы маки в конце концов
как россыпи снегирей и синиц
под тюремным забором

в шелковых птицах
спят маленькие волчата
и готовы вырваться на свободу
схватить тебя разлюбить тебя лязгнуть винтовочными зубами

высеки искру из камня
в райских садах
люди изобретут охоту и собирательство
и размажут красные ягоды
по стенам пещеры

будь тогда изогнутой оленицей
чтобы нарисовать тебя
ускользающей в заросли
раненною стрелою
или не раненной ею

•

под раскидистым деревом
известковые статуи
моих античных божеств
непригодных для танцев

и со временем
они осыпаются
как твоя кожа
к которой нельзя прикоснуться

в деревянных шкатулках
я сохранил златовласые сны
берега слоновой кости
ускорения свободного падения
набил табаком гранату

и тонким обувным каблуком
проламываю собственный череп

•

крепость после осады
запаивают в бутылку
и отправляют халифу
дорогую и крепкую
в окружении грязных автомобилей
я смахиваю птиц на лед

наматываю на палец волосы —
и остаюсь в тумане один

только звук шагов
по обе стороны от каменной россыпи
и хвойные лезвия
по твоему лицу

•

в папоротниковых цветах одежды
ты выговариваешь слова на ощупь
взрываешь коробочки льна
и безучастная
идешь в снежном интервале

где я сплю центробежной змеей
наступи на меня — и узнаешь
сколько любви помещается
в крышечку от бутылки

второе стихотворение

моя любовь не помещается
в крышечку от бутылки
она набухает
в предзакатном семейном ужине
мерцающем в доме напротив

пока я глотаю картинки с тетрадных полей
где профили Пушкина Лермонтова
и что-то женское неземное

пока вышиваю на простынях чувств
сплю на флагах
— да сплю на флагах —
развожу прекрасные бредни воображения
в полукруглом движении твоей руки
— от головы к поясу
— от пояса к поясу

и ты — незнакомая белоснежная
психиатрическая больница

— до какой поры цвести цветам?
— до какой поры дереву быть деревом?
— как раздробить себе ребра
чтобы дать легким воздуха?

•

шипучка на языке
разъест твой детский рот —
и в красной пене
я буду весь
как офицер у расстрельной стенки

только дай мне
расплатиться с тобою
полотнами папиросной бумаги
в полупрозрачном сиянии кинолент
на последнем ряду

— где не было никакой *тебя* —

— *тебя* не было —

были —
передвижные выставки
школьных ликующих стенгазет
были —

недодуманные никогда —
твои зрачки в глазах древнерусских княгинь
и твои волосы
вплетенные в гривы коней —
чудесных как порох —
утащивших меня того —
настоящего? —

на противоположный берег

•

и ввиду всего вышесказанного
я требую повиновения чувству неисполнимого

весь в парандже истерики

преломи хлеб заряди пушки и выстирай флаги

выйди со мной на плоский абстрактный берег
и закури раз ты разнервничалась
в темном подвале
за стеною моих зубов

уговори меня —
и вода подберет окурки
вся в соляных гирляндах —
как твое осторожное тело

Антон Васецкий

Монтаж всё исправит

* * *

Иногда забывается, кто
и куда едет в этом пальто,
в этой обуви, в этом вагоне,
в бесконечном, как сон, перегоне.

Ни отбы-, ни прибытия пункт
не идет на растерянный ум
к телу в зябкой подземной глуши,
где кругом ни единой души.

Кто застыл и, расширив зрачки,
изумленно глядит сквозь очки
в отражение перед собой.
Не бросай меня здесь, милый мой.

* * *

Спотыкаясь и падая,
ковыляют вдвоем
утомившийся Павел,
изможденный Антон.
Через зимнюю реку,
чертыхаясь, бредут
по блестящему снегу
и черному льду.

Лишь луна светит бешено,
озаряя их путь
и печаль, что прошедшего
ничего не вернуть.
Ни наивности сердца,
ни надежд филигрань.
Потому — косорезы,
баламуты и пьянь,
чтоб в коротком покое
упасть, замереть.
Всё смотреть в ледяное.
Лежать и смотреть.

* * *

Когда промчится как ужаленный
рабочий день по этажу,
нетвердым шагом каторжанина
я на Тверскую выхожу.

И не пройду пяти буквально я
шагов из офиса вовне,
плывет машина поливальная
сквозь полумрак навстречу мне.

Пускай неделя шла несчастливо
и одолел душевный гнет,
она бибикнет мне участливо
и ближним светом подмигнет.

Наступит миг — устав быть актором
судьбы, на факты негустой,
я брошу всё и стану трактором
с дорожной щеткой навесной.

Пойду греметь стальной брюшиною
по центру до скончанья дней,
и с поливальной машиною
мы не расстанемся моей.

* * *

Внимание персоналу!
У главного входа
между фонтаном и аквариумом
найден мужчина
семидесяти лет.
Зовут Степан Николаевич.
Одет в серый пиджак,
синие брюки, голубую рубашку.
В руках полотенце.
Ждет встречи с родителями
и старшей сестрой
на центральной информационной стойке.

Монтаж всё исправит

Глоторуков был неприятным типом.
При споре неизменно спрашивал:
«А что если я дам тебе в морду?»
В классе его недолюбливали.

Сейчас уже и не вспомнить,
как он оказался у меня в гостях.
Скорее всего, мой школьный друг Вова,
с которым мы общаемся до сих пор,
встретил его по пути
и позвал с собой из вежливости.
Глоторуков казался растроганным
и долго не хотел уходить.
Родителей не было.
Мы слушали музыку,
ели пиццу,
болтали о том о сем
и, чтобы развлечься,
снимали это на видеокамеру.

Уже потом я узнал,
что у Глоторукова
не всё гладко в семье.
После школы
он не стал поступать в вуз,
а пошел работать грузчиком.
Затем его следы потерялись.

Много лет спустя
я начал оцифровывать
старые видеокассеты
и мне попалась та запись.
На ней мы с Вовой
совсем юные и звонкие.
Лишь Глоторуков
омрачал атмосферу
своим присутствием.

«Монтаж всё исправит», —
подумал я,
импортируя ролик
в видеоредактор.

Глоторуков оказался
очень удобным объектом
для удаления.
Не лез в кадр,
говорил только во время пауз
и даже смеяться умудрялся без ущерба
для общей аудиодорожки.
Как будто заранее знал,
что его вырежут.

Я был так доволен результатом,
что сбросил смонтированное видео
Вове со словами:
«Выпилил Глоторукова к черту».

В ответ Вова сообщил мне, что в среду
глоторуковские родственники
приглашают нас на поминки.

* * *

Только черный костюм.
Никакого другого костюма.
Прогуляться к мосту.
Замереть, к ограждениям чугунным
примагнитив больной позвонок
поясничный, как школьник,
что, последний звонок
ожидая, подпер подоконник.

Он, конечно, глубокий знаток
иссушающих болей,
злых депрессий, стреляний в висок,
вековых меланхолий.
Поражен острой формой поэзии,
словно холерой,
или ласковым лезвием
неходового размера.

Он стоит в переполненном зале,
застыв, и картина
блещет перед глазами:
вернувшись назад через длинный
временной интервал,
он сравнит изменившийся город
с тем, который не подозревал,
что окажется дорог.

Встанет, как ресторан,
прогоревший на зимних дисконтах,
покосившийся башенный кран
на краю горизонта,
мост у речки у чертовой
с выряженным одиночкой,
нацепившим всё черное
летом, включая сорочку.

* * *

Как рассказать про сизый воздух октября,
про зелень парка, преданную зря
бездвременно скончавшемуся лету,
где тротуар надтреснут, словно альт,
а голый лед мерцает, как базальт,
и не прогнать оторванность вот эту.

Скорей бы выпал снег и всё прикрыл
прикосновеньем невесомых крыл,
повсюду кистью пробежав малярной,
захватывая щели, и пазы,
и неизменный низменный позыв
чуть что — за регулярные стихи
хвататься, как за воздух, регулярно.

* * *

Растянувшись цепью напряженной,
будни приближаются к концу,
чтобы в тишине мужья и жены
замерли опять лицом к лицу.

Вот и мы, как дужки из вольфрама,
если взгляд под правильным углом
бросить к нам из-за оконной рамы,
спаяны с тобою за стеклом.

Свет подрагивает и мигает
от перенагрузок в эти дни.
Ни о чем не думай, дорогая.
Просто отдохни.

Не переживай насчет проводки.
Даже если вдруг перегорит,
это будут щитовые пробки,
а не что-то важное внутри.

* * *

Заходя в офисную столовую,
я каждый раз
слышу те же звуки,
вижу те же лица.
Кассирша снова включила
DVD с клипами,
снятыми еще до моего рождения.
Иногда мне становится не по себе,
как герою богом забытого фильма,
который проживает один и тот же день.
Но, глядя, как кассирша
шевелит губами
в такт словам
о вере, любви и надежде,
я успокаиваю себя.
А что, если
гонять на репите
никому не нужные песни —
это и значит
быть самим собой.

* * *

Снег десантируется
с облаков поутру
хлопьями, слипшимися
и густыми, как пена,
ветви и крыши
укутывая постепенно,
двор погребая, скамейку,
крыльцо, конуру.
Выйдя из будки и видя
большой белый ком
в миске на фоне
прекрасного нового мира,

старый дворняга
себя ощущает щенком,
вдруг получившим на завтрак
тарелку пломбира.
Точно не помня,
кто мог это быть из детей,
что за уехавшая без возврата
девчонка,
пес тонет в миске
всей мордой беззубой своей,
машет хвостом благодарно
и чавкает звонко.

* * *

Детей становилось меньше. Игрушек — больше.
Пока не стемнело, я поиграл во все.
Потом мы смотрели кино, снятое в Польше,
о дружных танкистах и их беззаботном псе.

Потом я остался один, кого не забрали,
стойкий, как этот танковый экипаж.
Со сторожихой по имени баба Валя
мы обошли за этажом этаж.

Группу за группой проверили каждый краник,
каждую ручку, везде выключая свет.
Плакать хотелось, но я был как бравый Янек,
пока залезал засыпать под колючий плед.

Не выдающий ни горечи, ни печали,
хотя и страшное что-то произошло.
И не поверил, когда вдруг с улицы постучали
и улыбнулся папа через стекло.

Сколько бы лет, километров, людей, событий
ни вытесняло из памяти детский сад,
я и теперь, ощущая себя оставленным и забытым,
иной раз ловлю внимательный этот взгляд.

* * *

Каждое утро
младенец
великодушно прощает
свою маму
за всё.

За подгузники.
За умывание.
За манеж.
За игрушки.
За шапочку.
За коляску.
За прогулку.
За купание перед сном.

Каждое утро
горькие слезы
негодования
на его лице
сменяет
улыбка надежды.

Может, хотя бы сегодня
эта сонная великанша
возьмется за ум?

Николай Васильев

Звезда невозврата

* * *

видно звезды городам,
нету вечности помешкать,
по зияющим следам
чуешь львиную подбежку

окружающий живьем,
чуть задумайся под бездной —
мы ведь в космосе живем,
говоря черно и честно —

в русской, в частности, ночи
из любого ниотвсюду
зверь пространства не рычит,
глухо прыгая в рассудок

страшный страшно, сверх небес,
будто истинная правда,
что конечен ли, что без
мелкой пулей космонавта

* * *

математической тропой на водопой
сурового, случайного расклада

я произнес: какой же ты тупой —
на звезды сквозь сырое небо глядя

подталый снег подрагивал травой,
на темноты бугре блестели дачи
Господь с тобой, какой же ты тупой,
зачем так надо, что никак иначе

и режешь без ножа, куском иным,
как тишины оставленное чувство:
глаза невесты у дрянной цены,
ты видишь, и какое там кощунство,

что в заграничный звездный коленвал
психею, будто платину, вмотало
и я на снег с простых высот плевал
от вкуса драгоценного металла

* * *

как бранное слово, кипела сырая земля
в окопе для дома жилого
и больше никак это было назвать и нельзя
то самое слово

казалось, что люди там мерли себя, на своих
коленях, карачках, без крова,
еще не заехавшие на аид,
но был он уже разворован

закручивала и сжимала раскопа квадрат
вот в этот всему эллипсоид
планета на пьяных глазах, как когда
вопит на картине лицоид

и в дикой тоске и безбожной кипел землеем,
у ямы строительноградой
концы продолжались внизу без нее,
и рыба бессмертная билась, как сердце твое,
снаружи тебя я совсем не видал, моя радость

* * *

кто не первую ночь открывает глаза потолку
и лежит здесь один, всё равно ему и всё ровнее
то, что сгусток живой и всецелый с трудом растолкуем,
цепкой раны багровой лишь берег бы тут багровел

лишь бы дыбом оно на деревьях живых, как шерства,
перед тем, как взлетит, и в бредовом дыханьи района
из соседней себе переулицы крик волшебства
чей-то сон и подъезд самовольно и самопронзенно

так летучим ознобом простуженный съемщик и стал,
и в расстрельной розе ветвей все корнями и стали,
и в запястьях ледеющих стынет насквозь металл
обреченную смерть во спасенье, что богооставлен

* * *

застенный гул так комнату трясет,
единству смотрит похоть в темный рот,
по пояс между молоком и медом,
а то ли боль, но в глубине щедрот
они принадлежат всем сразу звездам

от золотой я отхлебнул пучины,
всё прощено, и прошлого нема,
она сейчас то самое сама,
простреленная дальних фар лучиной
и строгая, как катастрофа, тьма

пред сердцем атома стараться не грешить,
как отжиматься перед смертью тоже дело,
ночная улица родной души
сказала, комнаты ночной тряхнув пределы,
как будто горя меж двоих родное тело

пространство кому заново взорвет,
единству смотрит похоть в темный рот,
по пояс в толщах молока и меда,
а то ли гибь, на острие щедрот
на обе взгляд всех сразу звезд наметан,
и бездна другим именем зовет

* * *

Бог не будет таким, каким прежде был,
и таким, каким мог бы быть,
как стыда или страха последних сил
страсти-совести не забыть,

если ты особо ее не знал,
только всякое знал дерьмо,
тридцать ли, двадцать пять опоздал вокзал
на последний поезд домой —

он когда-нибудь еще раз настал
неизвестного вида-цены,
скоростной, как распад, но родных одеял
жгучих и полушерстяных,

Бог не будет таким, каким прежде был,
мальчик девочку как сестру
и жену, и дочь переполюбил,
на осенней весны ветру

в цвета желто-синего одного
(красно-зелено на краю)
демократию веря совсем Его
и парламент, и профсоюз,

будто верит проигранная война
в лейтенанта, по божьей цене
продававшего родину пацанам,
не бросая их там в огне

* * *

примолкшая в пути, как под не первым снегом,
припадочная глубь, истерика-тоска
приснись мне, говорит, побудем человеком
минуту или две, прощаемся пока

к чему ни подойди — края видны заране,
как будто жизнь честна, как девушка, со мной,
как будто не моя, прямее и поганей
недолго говоря в подмерзший перегной

зачем мы и при чем — за стенкой, при режиме,
в один прекрасный день, в одну прекрасну дрянь
мне выродилось все, чужое и чужие,
и сам себе никто, ни прочая родня

и потому в твои — настроиться на резкость —
поэзии глаза пытается душа:
там тьма-сыра звезда, и вышек по-над лесом
еще пристоен рост, еще достоин шаг

* * *

на улице красиво и свежо,
как говорят про холод и закаты,
по ком темнеет и горит сезон,
глянь мельком в полузеркало окна ты

в соседней пьют, пакетами звеня,
товарищам зима всё ярче светит
и тьму мотает на катушку дня,
как пленку с чьим-то голосом вот этим —

о чем вообще на свете разговор,
не знай ни одноглазый, ни двурогий,
что там открыл двуликий светофор
полуночной полупустой дороге

лишь оба его отблеска сквозят
в подмоченном асфальте заоконном
и редкой птице нет пути назад
над серединой мутного закона

* * *

...его и скрестнулся, мерцающ и тал,
с извечным изменчивый ток —
не в смысле, того, кого ты не стал
из проруби, из-под ментов —

а больше — того, кто с ним был и пропал,
а больше не видел никто

весна dokonaeт осенний надлом,
и сломано всё целиком —
на стремную улицу выйди в бездом,
иди проповедуй с захлопнутым ртом
и сам себя жаль за двоих языком

пиликает рамка на совесть и страх,
и ветер дубинкой свистит,
и он каноничен, как площадь и флаг,
на площадь раскинутый стыд,

что есть тебе власть, кроме там, в синеве —
и здесь каноничнейший стыд,
что слепит тебя допрошающий свет,
раз ты — это кто-то не ты,

а кто за тебя на кресте отмотал
и автор похищенных строк —
его и буровит зубовная сталь,
ржавая, берет на зубок

покуда тебя, беззащитен и ал,
корнями сосет цветок

* * *

посреди бела дня, словно Мги посреди или Тосно,
по каким-то делам у вещей имена еще те —
с интервалом в тритон электрички, да бедные сосны
грабят почву, а солнце их ставит спиной к пустоте

и дорога уходит на две разделенные дали,
как свои же черты преходя, заступая с концом,
из обоих, друг другу ни чем не родных зазеркалий
в оба зеркала смотрит, решаясь, родное лицо

снег бодряжит весна, с каждым годом сомнительней кроет
неподъемную глушь, потому и объемы растут —
но и здесь ты не здесь ни родился, ни умер порою,
даже если родился и умер практически тут

есть у истины выбор, одной только ей и по праву,
меж законов своих просиять беззаконье одно —

чтоб в аду областном под мазутом и кровью канава
у апрельского неба рискнула спросить, кто оно

* * *

не горюй, что сгноили нас всех на корню, не горюй,
лезть под повод был поезд железный, теперь только жить нам —
возгорится гнилье и взорвется дерьмо на корню,
если станет его до такого, что не уследить им

налитыми глазами взгляни на меня, что я мразь,
из соломы и глины своей, из родной подноготной —
правда это когда про последнюю палево власть,
про меня в твоём случае, да про тебя в обратном

бродит похоть, как ветер, сама темнота меж осин,
это просто шевелится звук и движение стонет,
к Богу жалости нет у тебя, он не тот, кто просил —
просто дышишь на крест учащенно, как перед погоней

я один раз поклялся, иди остальное огнем,
я всегда уцелею, я конченный, конченный атом —
просыпайся, животное, выйдем в ночное вдвоем
под иссиня-зеленой звездой штормовой невозврата

* * *

люди спят в нерабочем приделе, безуютный весьма приют,
и кого-то на самом деле голоса говорят, поют
(он чужими скажет губами, на предельный попав вокзал:
помоги мне, Господня мама — видишь, подвиг меня объял)

где-то между молчаньем и криком, на окраине центра речь
незнакомое солнце в зените, ровно между «сберечь» и «сжечь»
на качелях кружит девчонка — что случилось, ногами ввысь —
это где он, окликнувший сердце — не поймешь, но остановись

на разлуку души и тела — «как же я без тебя теперь»
глина в горле, вода в стакане превращается в водку, пей
и ладонь накрывает крышей, как фундамент открытый, рот
и по улице губ сомкнутых допотопный трамвай ползет

содрогнувшийся жгучий воздух над свечой, как простор, нагой
из разлуки души и тела, яко ветер или огонь,
вырывается твердь на карте, в изначальном ее углу,
где снимают Адам и Ева этот ржавый пожар вокруг

* * *

один в деревне чувствует себя:
поел, прибрал и курит, на крыльце сев,
открытую в концовку декабря
спокойно, как в подветренное сердце

распоряжает ветер на полях,
блуждает дождь, пространство отмывая

он говорит: умри, не будь дурак —
кому-то, доведенному до края

он говорит и продолжает жить
по тишине, где всё, уже не вечер,
и солнце, словно воронье, кружит
лесов по кругу, вспугнутое вечным

часы идут, не ведая того,
под ремешком скопившегося зуда

(что плоть его, душа и жизнь его
грядущему — как общая посуда)

* * *

так глубоко, что всё с той поры —
по пунктирной вене изгнания —
привокзальные помню дворы
и прожектор вокзальный

там, где сроду не пахло тобой,
где и быть-то тебя не должно быть —
пропасть детства взирает на мой
ностальгический опыт

и еще б я теперь не поэт,
если, столько скитаясь о доме,
понабрел на нешуточный свет
в приотверстом надломе —

между ними, похоже, всерьез,
посмотри-ка большими глазами —
лишь поехавшей крыши вопрос
между ними и нами —

смерть и ужас мелькают во мне
пристязными вокруг коренного
огонька сигареты во тьме
единенья ночного

* * *

я засыпаю с мыслью о тебе
я должен быть подъем, прилив, набег
я просыпаюсь, одевая сваи

прибрежные в пучину, и вперед —
слегка немислим следующий год,
но так теперь о будущем бывает

июль наш море северное есть
ближайших крыш не сохнет волнорез
и взгляд всплывает, как утопший опыт:

взлетевшей птицы чуешь прежний прах
и перед прахом этим, на кострах,
из школьного учебника кого-то:

за гаражами безымянна вонь
по деревьям взбирается огонь
в зеленые осенние тетради

никто в глаза тут неба не видал,
но чистый крик, полнейший алингвал
над нами, и ни слова о пощаде

Любовь Глотова

Вкушая дары

* * *

облака сугробы неба
тяжело нести
вместо молока и хлеба
снега гроздь в горсти
мы идем в открытом снеге
окунаем джинсы ног
рифмы следи и телеги
устарели но
мы с тобой зачем природе
наш вопрос решен
это кто-то новый ходит
куртка капюшон
это кто-то новый ищет
ищет не найдет
снегом смотрит ветром свищет
поездом идет

* * *

нету опции разлюбить
в наших дебрях водорослевых
но не принято о любви
кушай праздничный оливье
не получится объяснить
слов не хватит мне а без них
только стертые письма
празднуй праздник свой без меня

* * *

Чтоб выбраться на кладбище, мы ждали
большого праздника — тогда дают автобус,
и не один, а много, друг за дружкой.

И тысячи самарцев безмашинных
все в этот день торопятся с утра
по разным направлениям за город.

Мы мчимся к автостанции «Аврора»,
с трамвая на автобус специальный
враз перепрыгнув, едем на Рубёжку
(я, маленькая, думала — «рыбёшка»).

Вот Пасха или даже День Победы —
по улице кладбищенской иду,
за бабушкой и мамой поспеваю.

Тут музыканты звонкое играют,
цыганки с малышами просят денег.
Живые едут к мертвым погостить.

Те с фотографий на живых глядят:
что с ними стало — быстро ли стареют,
когда уже навечно будут рядом?

На маленьких глядят: се кто такие?
А, нарожали... Что же — будет, будет...

Теперь и ты, родимая, лежишь
на том же теплом кладбище весеннем.
А мы к тебе — не в праздник, на машине,
в любой обычный день, когда здесь пусто
и нет ни музыкантов, ни цыган.
С твоею дочерью и правнучкой твоей...

На кладбище по линии восьмой
мне к озеру спуститься.
На озере том лебеди бывают...

* * *

зеленой надежды кумыс
степная поволжская знать
придите сюда и вдохните
меж ребер вам травы и ветер
и будьте до самой зимы
найдите отца вам и мать
и ждите как толстые нити
тянуть с вас начнут ваши дети
и стоя овцой во степи
скупые вкушая дары
тугой покрывайтесь вы шкурой
и шерстью золотой обрастайте
о том кто собирает репы
о том как сияют миры
о теплой земле красно-бурой
с листа земляники читайте

* * *

я за руку тебя беру
вдоль берега идем
кому нужны мы поутру
мы никому вдвоем
вот море светит только нам
вот мы ему одни
вот мы уходим по волнам
верни меня верни
поставь на камни остывать
и греться заодно
пусть камни будут целовать
пусть прорастет зерно
пусть солнце выйдет из-за туч
уронит в воду мяч
я говорю тебе не плачь
ты говоришь не плачь

* * *

гореглазый человек
у тебя на шапке птица
больше негде притулиться
у тебя в кармане снег
гореглазый человек
расскажи зачем мне плохо
поворачиваю вверх
и при каждом вдохе глохну
понимаю мне не дня
глаз твоих мне горьких надо
не забудешь будешь гадом
снег в кармане от меня

* * *

На черном-черном берегу
под желтою луной
стояли мы — и ни гу-гу,
и тени за спиной.

И тень твоя сказала так:
«Чего молчат они?»
А тень моя сказала так:
«Они совсем одни».

И тень ответила твоя:
«Постой, а как же мы?»
И тень ответила моя:
«А мы с тобой немые».

И черный берег, и песок,
и жёлтая луна,
и дом — не низок, не высок,
и в доме тишина.

* * *

Эрос мой, Эрос,
оставил меня пошто?
Я тебе — тезка,
говоришь — никто.
Я тебе — не из родни, а в родню,
твердишь — не сегодня.
Я тебе — воду и хлеб,
нудишь — Феб, Феб...
Как бы не так.
Не Феб, а Вакх.

Божья ошибка

«У меня два ребенка — дочка и дочка,
и нет мне ни одного сыночка.
Адам на меня не глядит.
Всё нудит — если третий окажется дочкой,
пойдет да и сам родит.
А я уже бочка бочкой. И тот, кто во мне,
откликается на “доченьку-дочку”,
а когда говорю: “Сыночек ты мой, сыночек”, —
кулачком не стучит, молчком молчит.
Душа у меня болит», —
так Ползучему Гаду говорила Лилит.

«Он бросит меня, он уйдет к этой, как ее, Еве.
Она целыми днями сидит на древе, поедая плоды.
Бесцветная! Из чего ее сделали? Из воды?
Посмотри в ее глаза, Адам! Они как пустые ведра —
она и не думает о тебе! А ты
примеряешься к ее бедрам,
думаешь — Ева родит мне пацана,
здоровая баба она».

Лилит родила четвертую бабу в семью.
Адам сказал, что всё это он вертел
на своем краю.
Вещей не взял, так голышом и направился к Еве.

Та сидела на древе,
прозрачная, что из воды выпрыгнувшая русалка.

Адам сказал:
«Ты моя самка,
а другая — божья была ошибка.
То, что было с ней, неслитово. И да будет всё снова,
да будет всё снова. Аминь. Готово».

* * *

ты у меня одна
партия и страна

мне уже двадцать два
я еще нет никто
есть Питер и есть Москва
и остальное ничто —
тула тундра тува
самара сахара — стоп
мне уже двадцать два
а завтра — гляди ж — потоп?
завтра — гляди ж — навек
позамкнет провода
и тишиною рек
оплывут города
сколько там будет вас
в Питере и в Москве?
сколько здесь будет нас
в самарасахаратуве?
много там будет вас
мало здесь будет нас
я допиваю квас
это вам не москва-с

* * *

это снега белый бим
черные колодцы
это я иду с другим
и где тонко рвется
это я иду одна
и тебе ни слова
и волна волна волна
снова снова снова

* * *

Среди ночи проснешься, и то,
что, казалось, забыто,
о чем и не думал плакать,
перед тобой как перед травой,
а сердце — разверстая плоти мякоть.
И ты жалеешь себя —
боже правый, святой альтигеймер, —
как никого и нигде,
но вдруг
понимаешь,
что окончательно проснулся,
что тебе нужно по малой нужде,
а ты тут развел,
понимаешь.

* * *

мы не гуляли по крышам
не пили глинтвейн у моря
мы сидели в твоей комнате
или лежали в твоей комнате

я точно не помню
что мы делали в твоей комнате
но я помню точно
мы не гуляли по крышам
и не пили глинтвейн у моря

* * *

Стаял снег, в микрорайонах
загорелись огоньки —
под кустами и у кленов,
аки алые цветки —
из-под перцовки пузырьки.

Кто сию водицу выпил?
Чем, болезный, закусил?
В одиночку иль соседа
на прогулку пригласил?
Или просто шел с работы
и в аптеку завернул:

— Дайте, дайте мне перцовки, —
и в глаза ей заглянул, —
ох уж эти бабы, девки,
эти господи-прости,
доведут же до перцовки!

— Как же вас не довести!

— Выпью с горя и залягу,
дай-ка две, налью во флягу.

И под всякою березой,
только снег сойдет на нет,
красным перцем тают слезы —
здравствуй, горький первоцвет.

* * *

Внимания не обратив на логотип,
как будто раковину проглотив,
ползет с невероятной рожей
в подъезд, за дверь и по прихожей.
А я наоборот — кроссовки в руки
через окно, как старший сын, от скуки,
чтоб не увидела, куда бегу,
кроссовки обуваю на бегу
и в лес, и в лес, подальше, за Волгу.
А в животе тяжелая лежит,
и даже кувыркается как будто,
и пятками пинается подолгу,
и от меня пока не убежит...

* * *

Прабабушка за окном —
как бабочка за стеклом.

Вышла бы на улицу — ножки не идут.
Вылетела бы в форточку —
крылышки не летят.

А как раньше с палочкой — цок-цок.
А еще раньше галочкой — фью-фью.
А теперь на креслице — качь-качь —
ходить не получается, хоть плачь.

Левая нога
болит и болит.
Как малая лялька,
ночью уснуть не дает.
И прабабушка
песню поет:

«Дра-та-рита-рита-та,
вышла кошка за кота.
А от кошки мышь, мышь
спряталась в камыш-мыш,
а за мышью жук, жук,
он рогами стук-стук.
Мышь от страха жужжит —
аж камыш дрожит.
Мышь от страха пищит —
аж камыш трещит».

Я проснусь и начну кувыряться, на голове стоять,
а прабабушка — Лермонтова читать.
Я из комнаты в комнату побегаю немножко,
а прабабушка книжку отложит, погладит кошку —
и ножку кутать начнет,
натирать соленой водой,
таблетками убаюкивать боль —
тут я подбегу к пианино,
чтобы сыграть Ноту Соль!..

Милая, в гольфах красных
ты — словно волшебный гном!
Слышишь, слышишь —
в саду за твоим окном
яблоки падают — бом, бом...

Олег Демидов

Самое главное

* * *

когда приходишь на кладбище
и видишь перед собой

Семена Липкина
Инну Лиснянскую
Анатолия Кобенкова
Евгения Евтушенко
Бориса Пастернака

начинают падать белые снега
сухую грустью
на дно очей

и Сетунь становится Стиксом
и ты наконец видишь

* * *

Переделкино. Осень. Морозит.
Как чернила, душа протекает
и в кармане у Бога витает,
крылышкуя презренною прозой.

Так пройдешь до Мичуринца в мыслях
об участке, мангале и бане.
Где там Рейн обитает, видали?
Всё в тумане. Олимпа не видишь.

Ну а он проступает в кармане —
там, где паспорт мозоль натирает
и в анапест играют цитаты,
а ты сам «Жигули» попиваешь.

* * *

А. Фамицкому

стихи попали в переплет
залет формальный недолет
не лед и это главное
поэт закрылся на учет
в подсобке тараканий взвод
и пусть и грусть и далее

по осени считают ямб
заносят в бортовой журнал
чужие маргиналии
один сказал другой сказал
а третий даже написал
и всех не сосчитаешь их

марай бумагу и пиши
кропи копи черновики
ни строчки не откладывай
не верь не бойся не проси
точи острой карандаши
языковой анархией

и перелет и перельет
и под обложку попадет
и где-то напечатают
но это всё совсем не то
кифера ждет который год
готовит сатурналии

* * *

Читаешь Гандельсмана — читаешь стихи.
Читаешь Гандлевского — читаешь стихи.
Читаешь Рубинштейна — читаешь буковки.

Читаешь Алейникова — читаешь стихи.
Читаешь Аронзона — читаешь стихи.
Читаешь Бобышева — читаешь историю.

Читаешь Кенжеева — читаешь стихи.
Читаешь Капович — читаешь стихи.
Читаешь Добрынина — читаешь стихи —
и окунаешься в поэзию.

Читаешь Бродского — читаешь Бродского.
Читаешь Рыжего — читаешь Рыжего.
Читаешь Лимонова — читаешь Лимонова.
И это-то, пожалуй, самое главное.

* * *

всё чаще начинаешь понимать
маяковского и аронзона

лучше
есенина и рыжего

глубже
застывшие стрелки

сильнее
как петляют опавшие листья

четче
далекую спаленку

и стало быть
брик

* * *

каждого молодого поэта
поставить на гамбургский счетчик

если он называет себя гением
открыть вакансию
в клуб-27

если он грезит памятником
или улицей своего имени
в клуб-37

если он жаждет всемирной славы
накинуть есенинскую петлю

если же он просто марает бумагу
отпустить
на все четыре стороны
пусть живет долго и счастливо

* * *

Всю ночь галдели чайки,
гуляла вешняя гроза,
а Тютчев пил из чарки
немецкий шнапс и запивал
его холодным пивом.
Горела тощая свеча —
и свет ее тоскливый
касался краешка стола.
И большего — не надо:
поэту хватит и быши¹
украденного сада.
Сиди — и знай себе — пиши.

¹ *Быша* — еле видимый просвет в грозовых облаках (устар.).

Андрею Добрынину

Ехал на рюмочку чая —
попал на стакан коньяка.
Где-то вблизи Еревана
упала шальная звезда:
Ноев небесный ковчег
сел на мель у вершин Арарата.
Знал, куда метил, мессия.
О, ave, Армения-мама!

В августе легче дышать,
выходя покурить на балкон,
где заплетает листва
свой прощальный осенний поклон;
видно тогда, как густеет
московская поздняя стынь...
Можно еще по одной —
и обратно в тепло и стихи.

А в Эривани живет
неудобный поэт Мандельштам:
город обходит с женою —
духан, чайхана, дастархан;
в городе сурик и охра
пространство все облюбовали.
Ах, Эривань, Эривань!
Что за птица тебя рисовала?..

Кончится лето, а с ним
подытожит свое и коньяк —
выйти пройтись в магазин,
чтоб добавить к «Мюрату» гранат.
Как говорил Андрей Битов,
чэ, чэ, виноделы, чэ, чэ:
лучше за шею закинуть
«Чаренц», «Ахматар» иль «Манэ».

А в экспедиции ходит
мальчишка Губанов Л. Г.:
кашу геолог готовит
на горной араксской воде,
звезды снимает легко —
дотянуться до них не вопрос —
сразу в охапку по пять,
невзирая на маленький рост.

Ехал за рюмочкой чая —
попал на стакан коньяка.
Сколько сидим и болтаем,
трудно уже и сказать.
Время, конечно, условность
и фикция, каких поискать...
Но никуда тут не деться —
и час наступает текать.

Дома жена ждет давно,
приготовив долму и суджух.
Будет немного корить
опозданием на теплый путук.
Как объяснить ей теперь,
что поэт пригубил коньяка
снова ль, не снова — неважно,
а важно ведь с кем и когда.

* * *

ну поэтка
ну поэтишка
ну поэтесса

да даже авторка

а всё равно не поэт

* * *

рукопожатный
рукопожатный
рукопожатный
а этот нерукопожатный
неприкасаемый чандала
грязный хариджан
тебе место под шконкой
куда мы тебя загоним
ссаными тряпками

* * *

Мой самолет был болен, тяжело болен,
Неизлечимо болен пароходиком в море...

Веня Д'ркин

Проходит год, за ним другой
проходит, пароходик ходит,
но клинит паровой гудок,
и ватерлиния под воду...
И лишний груз — награда за
уют, комфорт кают, каюк,
предотвращенный загодя, —
пожечь, а ценный — бросить в шлюп.

Куда тут плыть?... И как не плыть,
когда такая прыть, в печи
белеет уголь?... Значит, быть
или не быть — вопрос закрыт.
Пройдет еще — и год, и два,
и бороною обрастет
голубоглазый капитан,
не поменяется расчет:

пусть реже голос подает,
пусть тяжело идет корма,
исхоженный маршрут равно
полет равно аэроплан —
небыстро, да, но высоко,
ты в молоко попал небес,
в кисельный солнца оком —
и там, крылом мазнув, исчез.

* * *

Этот месяц
по Найману — когтябрь,
по Бродскому — мартóбрь,
по Пастернаку — достать чернил и плакать.

Завершим мы зиму так:
Найман — Бродский — Пастернак.

Прогулка с Ларионовым

Москва. Сиеста. Сонные грузины
в хинкальной потчуют гостей.
Владимир Святославич (он капризный)
велит: «И мне, Вано, налей».

Весна. Печет. Течет. На чёт и нечет
играет Цельсий со столицей.
Владимир Святославич бронзу лечит
грузинским пивом и сациви.

А мы чего ж? А мы не отстаем
и налегаем на спиртное.

Пройдем по Моховой в паб на Тверской —
«...love's craft» (на месте точек — Howard).

Налей, бармен, IPA да покислей,
открой нам счет — мы здесь надолго.
Москва. Весна. В разгул пошел апрель.
А в Нижнем — ледоход на Волге.

* * *

Декабристы разбудили Герцена.
Герцен — Горького.
Горький — кого только не разбудил?
кого только не раз будил?
Возьмем, например, Бабеля.

Бабель будил своими анекдотами чекистов.
Чекисты — будили не спросясь.
Наверное,
чтобы пересказать застольные байки.
Согласен: неудачный пример.

Бабель пробудил Одессу,
но это совсем другая история.

Возьмем тогда Маяковского:
его тоже разбудил Горький —
да так,
что Владимир Владимирович,
рассвирепев,
раз свирелью спев,
начал колотить в барабан.

Барабанная дробь!

Барабанная дробь
разбудила современников,
будила весь двадцатый век
и вошла наконец в ту фазу,

когда новые поколения
стали делать из нее бит.

Тот самый бит,
который долбит из-за стены.

Поэтому,
если вы плохо спите,
если вас мучает бессонница,
начните считать декабристов,
перепрыгивающих через Урал.

* * *

Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух...

Боратынский. Запустение

Холодно в сенях. И с куриц сыплет снег.
Виснет где-то под чердачным потолком
гений места — но совсем не оберег —
принятый спидолой старый рок-н-ролл.
Тут иной дух ни за что б не прижился:
мертвая деревня на краю земли —
это тоже бунт, бунт против бытия,
возведенный гулом трутней в обелиск.

Что такое время? Время — это липа,
что растет над Северной Двиной.
К ней идут то тунеядцы, то бандиты,
чтоб сложить в заимке крепкий зимний дом.
Выпал камень на обтесанные жерди —
всё сгодится в этой временной петле.
Камень — это Питер. Питер — это вечность.
Вечность — это танцы в брошенной избе.

Алексей Комаревцев

Рассчитывать на август

* * *

Пока цветут черемуха и вишня,
а также незнакомые кусты,
биолог никогда не будет лишним —
хватай его, налаживай мосты,

выдергивай с далеких факультетов,
на полуслове забирай тетрадь.
Зачем ему сейчас рутина эта?
Он должен всё на месте разъяснять,

легко вставлять латынь без перевода,
определять случайный аромат
и быть похожим на экскурсовода,
когда на каждой ветке — экспонат.

* * *

Когда застынут лужи во дворе
и вновь себя проявит мерзкий климат,
когда все цапли будут в Анкаре,
а все деревья жалкий облик примут,

я вновь надену шапку и пойду
в ближайший гастроном, шурша пакетом.
Куплю полбулки хлеба наряду
с кефиром акционным и паштетом.

Потом в колбасный загляну отдел,
в кондитерском слегка взвинчу продажи,
а тот, кто церкви римские смотрел,
кто в Праге на холмы взбирался даже,

кому весь этот выход — холостой,
потенциально мало что несущий,
кто вроде как лирический герой —
осмотрится вокруг на всякий случай.

* * *

С коллегой мы тащили шкаф
по Невскому проспекту,
толпу немного напугав
размашистым объектом.

Я шел спиной, и пару раз
лишь слово выручалю.
Чуть впереди играли джаз,
и всё напоминало

какой-то с Челентано фильм
с банкнотами на ветер,
где дух тридцатых уловим,
где мчится «Студебеккер»,

где сплошь мошенники одни,
живущие в полете.
Мы шли со шкафом, как они,
но только по работе.

Летела музыка легко,
взмывали вверх синкопы.
И были где-то далеко
и марши, и окопы.

* * *

Есть прекрасная песня Буйнова —
он там в целом о листьях поет.
Вспоминается снова и снова
девяносто какой-нибудь год.

Колокольчик, рюкзак первоклассный,
из наклеек — Шварценеггер, Ван Дамм.
Может, песня не так и прекрасна —
будем мягче к таким похвалам,

ведь она чем-то прошлым согрета,
чем-то большим, чем партия нот.
В ней из минусов только кассета,
что всё время немного жует.

* * *

Ремонтники оставили в асфальте
квадратную прореху. Дождь прошел,
и получилась лужа — принимайте! —
квадратная, похожая на стол.

Я шел домой и видел, как собака
из этой лужи пьет не торопясь.
Она привыкла в круглых пить, однако
квадратную нашла на этот раз.

Где облака, как на холсте, повисли —
художественно вписаны в квадрат.
Пора остановиться, всё осмыслить:
собаку, лужу, живописный ряд —

и не спешить к подъезду, спотыкаясь
о рытвины, а именно сейчас
остаться здесь и досмотреть артхаус —
единственный закрытый спецпоказ.

Сериал

Ирина, в меру симпатичный гид,
в подъезде обронила документы,
но тут возник Максим, работник МИД, —
поднял бумаги, понял суть момента.

И вмиг любовь свела их навсегда,
пока Максим не отбыл на Багамы.
Антон ей встретился как раз тогда.
Она твердила, что он самый-самый,

пока не появился Николай,
красавец-адвокат с улыбкой Бонда,
но он уехал вскоре за Алтай,
а тут Максим вернулся из Торонто

и предложил Ирине ехать с ним
в Париж, не зная, что начнется драма
на взлетном поле — крикнула: «Максим!»
его жена. И началась реклама.

* * *

Петляет марсоход вблизи канав,
седьмой айфон выходит с громкой вывеской,
а где-то есть табличка «ТЕЛЕГРАФ».
Конкретнее — на улице Учительской.

Семидесятых пламенный привет.
Вот «ПОЧТА» с «ТЕЛЕФОНОМ» верят в лучшее,
а он — нисколько, просто их сосед,
табличка рядом, да еще потухшая.

Исчезли перестук и перезвон.
Закрыта дверь, но думать так заманчиво,
что время здесь запуталось и он
еще стоит, последний незахваченный.

* * *

Вроде лето, а ветры подули
в полный голос, и воздух колюч,
словно где-то вахтеры июля
потеряли единственный ключ.

Вот стоим на пороге и мерзнем.
Нам в июль не попасть, а они
предлагают одеться серьезней —
ну хотя бы в ближайшие дни,

обещают и летнюю сладость,
и травинки, и солнца лучи,
но рассчитывать просят на август —
вот висят на колечке ключи.

* * *

Король подмостков, Англии кумир —
его, конечно, не существовало.
Был кто угодно, только не Шекспир —
был некий сэр, был конюх с сеновала,

священник, повар, парочка вельмож.
Был булочник, учитель фехтованья.
И всем им было видеть невтерпеж
достоинство, что просит подаянья.

И все ходили дружною гурьбой
под крики «браво!» из открытых окон.
Один был занят рифмами, другой
метафоры придумывал с наскока,

концовку кто-то третий сочинял,
четвертый добавлял героям сложность.
А вы — про вдохновение, про аврал,
про дивные миры, про невозможность.

* * *

Пришла весна. Качаются качели.
Какой-то человек несет букет.
А я иду с пакетом на пределе.
Точнее, на пределе сам пакет —

еще чуть-чуть — и шмякнется сгущенка,
эклер помнется, хрустнет эскимо.
Ведь у пакета всё предельно тонко.
Особенно где ручки у него.

Его могли бы Лермонтов и Байрон
взять на заметку, поощрить строкой.
И он бы не таскал батон и сайру,
а был бы романтический герой.

Писал стихи, бродил бы по утесам,
дремал под сенью, вглядывался ввысь,
но вряд ли там, в глуши, под горным скосом,
услышал бы: «Пожалуйста, держись!»

* * *

Без паники! Обходим эту лужу.
Пускай вот так — немного по кривой.
Здесь улица была, но стала уже —
остался перешеек небольшой.

Я пропустил вперед пенсионеров,
потом подружек слаженный квартет
и женщину с коробкою эклеров,
а школьник пропустил меня в ответ.

И я, когда ступил на новый берег,
с толпою слился, путь продолжил свой.
Мелькнули где-то Крузенштерн и Беринг
и молча покачали головой.

* * *

Нам булочный ларек сегодня дорог,
и очередь стоит — не подойти.
Ведь булочки — они везде по сорок,
а здесь — по двадцать после девяти.

Здесь можно взять с изюмом и с орехом,
от курника оставить лишь пробел,
а также без проблем услышать эхо
семидесятых, если кто хотел.

Не доставать давнишние открытки —
прийти сюда на несколько минут.
Меня спросили: «Что? Уже по скидке?»
Я отвечаю: «Да, уже дают».

И вижу — впереди один товарищ
берет рогалик, неплохой на вид.
На полке — Герман и в Париже — Галич.
Зато Высоцкий прямо здесь хрипит.

Дыбенко

Он был большевистским матросом,
буржуев держал за нутро.
И вот до района дорос он
и до остановки метро.

Карьера идет очень гладко.
Он стал, сократив длинный путь,
как Лиговка и Петроградка,
но только опасней чуть-чуть.

Петляет дворами эффектно,
возводит крутой жилмассив.
А Жуков всего лишь проспектом
остался, Берлин захватив.

* * *

У женщины в пакете есть морковка —
я выхватил ее без лишних слов.
На этом всё. Такая зарисовка.
Короткий стих, который не готов.

Не нужно это принимать серьезно,
кричать: «Держите вора! Караул!»
Я взял морковку только переносно,
поставил в текст и сразу же вернул.

Пытался что-то рифмовать с «любовью»,
решил, что «кровь» и «вновь» не подойдут,
и вот возникла женщина с морковью,
и я походкой тигра тут как тут.

* * *

Клен не может просто так стоять —
словно монумент, застывший в бронзе.
Он готов любому выдать пять —
только ты подпрыгни и дотронься.

Здесь не подойдет простой кивок,
оклики, приветственные звуки,
ведь не зря он ловит ветерок
и для нас протягивает руки,

смотрит на дорожку, на подъезд,
видит группу лиц на перекрестке
и готовит свой коронный жест:
с чем-то поздравляющий, партнерский.

* * *

Эта бабушка с тросточкой-палкой
с банкоматом про жизнь говорит,
и ему ни банкноты не жалко,
ни спасибо сказать за визит,

ведь когда еще будут беседы
вот такие, как прямо сейчас,
чтоб хотелось камина и пледа
и расширить словарный запас,

строить фразы легко и красиво.
А пока, если этого нет,
он ей скажет хотя бы спасибо
и услышит спасибо в ответ.

* * *

По улочкам не очень знаменитым,
вдоль портиков и чудных балюстрад
стекаются болельщики «Зенита»
к «Петровскому» и матом говорят.

Решительность читается на лицах —
то кулаком помашут, то шарфом,
ведь махач, как и матч, — он состоится
и в дождь, и в град — в любой погодный фон.

Опять сомкнутся бурные шеренги.
Опять на спартачей пойдет навал.
И если б это было при Кваренги,
он стройку бы оставил и сбежал.

* * *

Был краткий репортаж по Первому каналу
о нынешних стихах, поэтах и кружках.
Я тоже был заснят — пусть кто-то скажет: «Мало!» —
а я считаю: нет, был виден мой рукав.

Пускай не крупный план, не средний и не общий,
какой-то боковой, едва заметный план,
но я старался свой перформанс сделать четче,
рукой не шевелил, стремился на экран,

не зная, что рецепт несложен — чуть направо,
потом чуть-чуть вперед, потом немного вбок.
И федеральная не появилась слава.
Пришлось ее забыть, как это делал Блок.

* * *

Был перекур. Мы обсуждали Пруста.
К нам воробьи пристроились как раз.
И вместе с ними птичка. «Трясогузка», —
заметил невзначай один из нас.

Смешно звучит, хотя не видно, чтобы
трясло ее — весь вид невозмутим.
Она спокойно слушает. Еще бы!
Мы, видимо, нечасто с ней стоим.

Она могла бы сесть на верхотуру.
Хватает и заборчиков, и пней.
Но нет же — ей важна литература.
И в этом смысле мы согласны с ней.

Константин Комаров

По периметру примет

* * *

Язык, что неизбежно зыбок,
взяв, как монету, на зубок,
вспугнул я стаю мелких рыбок,
но строчку всё же уберег.

Потом еще скопил немного,
в избу замел бесценный сор,
и из узилища немого
на сушу вышел разговор.

В нем был и крика крой кротовый,
и сладкий щебета щербет,
и скрежет шепота картонный,
и рифмы добрый дробный свет.

Вот осыпается он градом,
ложится, как метеорит,
и воздух между нами гладит,
и прямо нам в глаза глядит.

Так происходит обученье
искусству снова говорить,
так происходит облученье,
что сокрывают буквари.

Давай поговорим нарядно,
Давай гореть — не будем гнить.
Да светит в слове — Ариадны
адреналиновая нить!

* * *

М.

Кануть ли безвестно
с местного моста...
Расскажи, невеста,
где мне высота.

Сникнуть в гроб горбатый
снеговой реки,
а потом — обратно —
гнуться от тоски.

Будто подрисован
к яви черный сон.
Мне ли адресован
трезвости трезвон?

Истиной инстинкта
истины инстинкт
поверять не стыдно
тем, кто горько спит.

Знак твой ждет девичий,
свет моих очей,
некиногеничный
дохлый книгочей.

Этой ночью зимней
я совсем один.
Только не грози мне
полыханьем льдин.

Знаю: ты парила
в этой стороне...

Скользкие перила
жгут подошвы мне.



Слаба моя закалка волевая,
меня элементарно истолочь.
Вот, переваливаясь и переливаясь
мазутисто, по мне проходит ночь.

Да что и взять с больного полутела,
полудуша которого уже,
пробив трахею, кашлем полетела
к другой, почти такой полудуше.

И молоко молчания прокисло.
Я обречен (а иначе — никак)
на голое вычерпыванье смыслов —
песчаных родинок на донце родника,

скользящего сквозь пыльные руины
застывших толп и тленного тепла,
сквозь дни, заполненные ртутною рутинной,
где боль моя, как время, истекла.

Но что мне шепчут звездные соцветья,
что пышно распустились к Рождеству?
Зачем по мне немотствуют соцсети,
как бы твердя — свали и торжествуй,

уйди из пресной тесноты телесной
и тишину пиши, и гул читай,
и вежливо шепчи: «Идите лесом»
любой лицо открывшей Гюльчатой?

Я, уличенный в улицах немало,
всегда смотревший с завистью на птиц,
с лихвой усвоил правила провала,
но предпочел бутылку, а не шприц.

И пусть теперь слова бегут, как крысы,
с титаника моих слепых мозгов,

им тоже предстоит однажды вскрыться
среди иных, достойных игроков.

Так будь со мной понеже понежнее,
тебе я вверен веерно, мой дух.
Меня здесь нет, я ухожу южнее,
на северную трогаюсь звезду.

Пока ты насовсем меня не выбил
и не избыл и не спустил с перил,
скажи, мой бог, какой анфан террибль
меня всё это время теребил

и почему вся ангельская стража
меня не допускает до суда.

Ответь мне, боже, ибо *так* мне страшно
уже не будет больше никогда.

* * *

Полон незнакомых шорохов
мой проштрафившийся дом.
За стеною новый Шолохов
тихо пишет «Громкий Дон».

Слишком зябко, слишком ветрено
и тревожно и темно,
куст прядет руками-ветками
воздуха веретено.

Падает вода нечастая
на земли сырой скелет...
Но ведь это — сопричастие.
Не соперничество, нет...

* * *

Я свет гашу, в ночи топя
свои слова, не горюя их.
Я не хочу, чтобы тебя
разглядывали разгильдяи,

чтоб ты ни взгляду, ни уму
чужому не смогла отдаться,
хоть про тебя и самому
мне никогда не догадаться.

Я тихо сяду в стороне
смотреть, как в сумраке из жести
сменяются в пугливом сне
твои загадочные жесты.

И, ничего не уяснив,
потом тихонько рядом лягу —
смотреть твои большие сны
и заносить их на бумагу.

* * *

Я музыки мозаику собрал
в сюжет простой — отдельный, отдаленный.
Его ты прочитаешь, мой брат,
купивши мой томишко уцененный.

Теперь, когда центоны не в цене
и образ свежий не упрешь с базара,
всё четче и яснее видно мне
мерцание межстрочного квазара.

Лежит листа чистейший аналой
и дремлет в белизне своей сакральной,
пока в душе горит огонь гнилой,
что разродится строчкой гениальной.

* * *

Простирается космос косой,
намечается новый делирий,
зреют сотни во мне голосов,
тех, что мы с тобой не поделили.

Но сегодня я больше не твой,
растворяюсь в пузырьчатом вое,
если станешь небесной вдовой —
это будет обиднее вдвое.

По периметру мрачных примет
нам брести тропкой берестяною,
чтоб в финале услышать: «Привет!» —
и с дремотой совпасть костяною.

* * *

Прозябает мелос,
и в груди — грусть.
Если я осмелюсь —
крайним отсмеюсь.

Заведенных кукол
страшен шаг ночной,
и летит под купол
огонек свечной.

Ты не спишь, я знаю,
сон твой не защит,
в нем дыра сквозная
воздух ворошит.

Но не потому ли,
что совсем не те,
мы не потонули
в этой пустоте?

* * *

Это дело парное,
надо на двоих,
это пиво барное —
мы с тобой до сих

пор не обналичены
в данном бытии,
только обезличены
в вечном питии.

После бреда ситного
выйдем, как в сортир, —
в заспанный, засыпанный
дивный новый мир.

* * *

Отпели оттепель, и в волдырях вода,
изветливы пространства извиненья,
слуюно слюдяного никогда
с картонных губ свисает злое пенье.

И только единичный фигурист
танцует на катке, истекшем в землю,
как будто бравый неофутурист
(такому я свою печаль повем ли?).

Горяч горчичный выдох, но черней
за вдохом вдох. Щека суха, как щука.
Я больше не пойду копать червей
в своей душе. И всех врагов прощу-ка.

И снова с ночью распишу ничью,
глотком воды сцарапывая нёбо,
и зашепчу, а может — закричу
в большом триумфе крайнего озноба.

* * *

Напрягать кадык,
строчками кадить.
Получил под дых —
и давай катись.

По богам беги,
по воде води,
только не солги
и не осуди.

И вернись домой,
где, как новый дом,
храм висит хромой,
разодетый в хром.

* * *

Сказал я спичке: «Спичка, спи», —
и затушил ее о ветер.
И полыхнул пожар в степи,
и дрогнуло письмо в конверте.

Мир стал отчетливей, но злее,
вот серый зрак луны раздут.
Реальность под конвоем зренья
в СИЗО фантазии ведут.

В окно фонарь сочится черный,
я жду один, полураздет,
когда период сей отчетный
отечный завершит рассвет.

Но сабля слабая созвучий
не рассечет песочный плеск.

И в день я вывалюсь, измучен,
переживать его гротеск.

Нет, зла на жизнь я не держу,
я просто слишком ей напичкан.
И сигарету вновь бужу
очередной уснувшей спичкой...

* * *

За эту откровенную халтуру
меня Анна Андреевна простит...

Когда б вы знали, из какого сюрю
растут стихи, которым ведом стыд.

Когда б вы знали слез сухую мякоть
и тишины многоголосый ад.
Когда б вы знали, как хреново плакать,
когда ты — нарисованный плакат.

Когда б вы знали, как трясет поджилки
поэзия — уютная сперва —
и — как теплолюбивые таджики —
дрожат на чистом холоде слова.

Когда б вы знали, как паскудно слабы
рифмованные нюни по трубе
(тем более что равнодушны бабы
к такой мобильной траурной мольбе).

Когда б вы знали, как горит заветно
строка среди разбавленного сна —
огнями, что лишь затемно заметны,
когда тоской душа замечена.

Когда б вы знали, как на вкус невкусна
метафор злых блескучая фольга.

Когда б вы знали...

Да ведь вы же в курсе.

И это
не меняет
нифига.

* * *

Прозрачный снег дыхание коробит,
его немного в угол накренья.
Так выскобленно и высоколобо
январский воздух смотрит на меня.

Прошедшей ночью я прошел три ада,
я ползал, прыгал, плавал и летал,
в моей башке друиды и дриады
топтали мозга красный краснотал.

Я выжил, но не чувствую вольготно
себя и не почувствую уже...
Чадит и затухает новогодье
в от чуда застрахованной душе.

Полина Корицкая

Плакать в самолете неприлично

* * *

Когда я уйду с работы,
Отметивши факт сего,
Захочется вдруг чего-то
Живого и своего...

...Поеду в Мытищи к Олегу!
С ним вместе гулять пойду.
Пройдемся по рыхлому снегу,
Последнему в этом году.

Мы выпьем с ним газировки,
А завтра — придет весна.
Вернется с командировки
Олеговская жена.

И, пряча в кошелке тыщи
Магнитиков и саше,
Ворвется в свое Мытище,
Прогонит меня взащей.

А я, не в обиде вовсе,
Смотрю, как в пяти шагах
Гуляют большие лоси
На длинных своих ногах.

* * *

о господи о господи ого
давай не я а кто-нибудь другой
давай не мы не мыкаться не мыть
ни рамы нет ни мамы нет не мы
изобретали это колесо
теряли пару будто бы носок
пунктиры тела топорную ось
себя потом отыскивать пришлось
как быть когда всё небыть и не так
и переполнен внутренний рюкзак
и лопнули натянутые швы
на вас смотрю и кажется не вы
на вас курю и куртка набекрень
вы вронский а я анечка карень
и тормоза отчаянно визжа
царапают обшивку гаража
и половинят лужицу дугой
не я не я о господи другой

* * *

Плакать в самолете неприлично,
В этом положении дорожном,
Плакать в самолете неприлично,
Ну а дома вовсе невозможно.
По прилете я схожу на рынок
И куплю два килограмма лука.
Буду чистить, чистить, чистить, чистить, чистить,
Буду резать, резать, резать, резать, резать,
Заливаться длинными слезами,
Нестыдными законными слезами,
Говоря: спасибо тебе, луку,
За такую тонкую услугу.

* * *

для оправдания некоторых пересудов
хожу по квартире голой
в кои-то веки могу позволить
и грудь колыхнется
над горою немытой посуды
и спина в теневом узоре
белой большой шали

для оправдания собственной немоты
что-то пишу в фейсбуке
и ногти как копытца
стучат по клавиатуре
справа четыре
слева одно

для оправдания неожиданного покоя
переживаю за Олега Сенцова
смотрю фильмы почивших
думаю об отложенной пенсии
и о платье в котором меня саму
когда-нибудь похоронят
если не разнесет

когда замерзну пойду надену
что-нибудь клетчатое и простое
пообедаю одноруко
посижу еще одиноко
вздохну и подумаю
слава богу

* * *

Бывает счастье беззащитное
И нежное, как мох на дереве.
И если женщина с мужчиною
Горячая, не индевелая

И вся насквозь она растительна,
Как самый сказочный пейзаж,
Ей всё простительно.
Простительно.
Ей всё простительно, Наташ.

* * *

Реки твои, песчаники,
Камни твои, вода...
Птица моя отчаянье,
Не торопись туда,
Птица моя безвременье,
Черная простыня
На угловатом темени —
Не осуди меня.

Руки твои — торфяники,
Не вызывай огня,
Там, на горящем спальнике,
Я не усну одна.
Там, на звенящем ельнике,
Больно и горячо:
Стылые понедельники,
Тлеющее плечо.

А за плечами синяя
Еле мигает высь.
Птица моя бессилие,
Выйди, остановись.
Птица моя бессонница,
Пестрая болтовня, —
Если когда-то вспомнится —
Не осуди меня.

* * *

— Бестолковщина ты, бестолковщина, —
Говорила маманя дурочке. —
Что разнылась опять беспочвенно?
Скушай курочки.

— Ой, маманя, тошнит от курочки,
В горле колом ее крыло.
Вы, маманя, подайте курточку,
Если не запаadlo.

— Да куда ж ты пойдешь, сердешная?
И темно, и собаки лают.
— До соседской пойду черешни я,
Погуляю...

— У черешни той ветки кривы,
И пасет ее гопота.
— Что ж, тогда я пойду до сливы,
Там, где та

Неземная растет осока
Выше вашей же головы...
— Слушай, милая, выпей сока,
Не гневи:

Сливу ту, когда всю подъяли,
Так срубили совсем с пути.
— Ну, тогда я пойду до ели,
Пропусти!

Помолчала маманя, хмуря
Свои брови, цедя компот,
И всучила топорик дуре:
Новый год.

И пошла, спотыкаясь, девица,
Вся от холода голуба,
А вокруг — ни куста, ни деревца,
Ни гриба.

* * *

Я не знаю, что мне делать,
Как не вздрагивать во сне,
Если снится белый лебедь,
Одинокий белый лебедь
И чего-то плачет мне.

Он кладет тугую шею
На души сплошной ушиб,
И лежит так без движенья,
И шипит мне,
И шипит мне,
И шипит мне:
«Задуши».

Я касаюсь белых перьев,
Я ласкаю белый пух.
И от этого, наверно,
Просыпаюсь снова в первом
И не сплю опять до двух.

* * *

Без конца в одну реку — и вплавь, и вброд.
Без конца ржавеют внутри винты.
Я вхожу в аптекарский огород
И стою, смотрю на его цветы.
На осу смотрю, и, увы, не жаль,
Что она умрет через два часа.
Вот рука моя, вот нога — ужаль,
Ну куда ты спешишь, оса.
Я ходила долго, искала ночь,
Но над садом этим не гасят свет.
И никто, никто мне не мог помочь,
Да и я не просила, нет.

* * *

Снова здравствуй, утренняя морось,
Мутный поднебесный оком.
Я сама с собой сегодня порознь,
Оттого с тобой мы не вдвоем.

Оттого, устало пробираясь
Сквозь дождем исхоженный проем,
Сожаленья маленькую малость
Ощувив, под козырьком замрем,

Как когда-то замирали вместе —
Осени живой противовес...
Дождь проходит. Я стою на месте
И смотрю на облачный навес.

Сон

Как я красиво по течению плыву,
Ты только полюбуйся, посмотри!
Я с берега тростиночку сорву
И подержу немножечко внутри.
Внутри, во рту, внизу, под языком,
В тростиночке пустырник и глицин...
А ты, со мной пока что не знаком,
Стоишь среди кружения люцин.
И я плыву, и берег недалеко,
А ты стоишь, стоишь на берегу,
Привязываешь к леске поплавок
И на крючок сажаешь курагу —
И самые красивые цветы,
И все невыразимые цвета...
...Ты медленно касаешься воды,
И под рукой качается вода.

* * *

Дерево-древо, не торопись,
Не урони на тропинку жизнь:
Яблоки зреют, потом гниют —
На это хватает пяти минут.
Яблоки просятся прямо в рот.
Женщина спелый живот несет.
Знает мужчина свою стезю,
Скупое роняет в траву слезу,
Обороняет зеленый быт
И отвечает бесстрашно:
Быть.

* * *

Я потеряла вчера в промзоне
Свой кошелек.
Он из кармана комбинезона
На землю лег.

Я, обнаружив свою потерю,
Была так зла.
Домой вернулась, врубил телик
И вдруг сползла:

С моей промзоны вперед ногами
Несли людей...
Спасибо, Боже, что взял деньгами,
Теперь — налей.

И был звонок мне, явление брата
И трех шалав.
Одна как будто из шоколада,
А две — из трав.

Они шатались и пахли так же —
Две конопели.
А негритянка наречьем вражьем
Чего-то пела...

...Их выдворяя, лишалась крови,
Был стук и гром...
Спасибо, Боже, что взял здоровьем,
Оставил дом.

Устало села — без настроенья
И с синяками.
Бороться трудно с фальшивым пеньем
И сорняками.

Неужто будет без одобренья
Мой жадный брат,
Отведав травки, дав удобренья,
Пить шоколад?..

...Да что ж там скачет — за потрохами,
Стучится злей?
Спасибо, Боже, что взял стихами.
Теперь — налей.

Евгения Коробкова

Страшный сон

Фейерверк

Кружит земля, как в детстве
Карусель,
Раскрыл зрачок дремавший
Горизонт.
На кухне мама жарит
Карасей,
Читает папа в зале
Доризо.
А комната прожарена насквозь,
А рыба грустно подлетает вверх,
А за окном вбивают в небо гвоздь,
Хохочут искры, будто фейерверк.
Пробором вниз валяется роман.
Над папиным — сгустились потолки,
А люди, разодетые в дома,
Стучатся в стекла, будто мотыльки.
Но стеклам квело, стекла бьют хвостом.
Они кричат народу: «Не глазей».
И папа не читает толстый том.
И некому нажарить карасей.
Читать стихи себе — какой резон.
Он скажет правду, он не фарисей:
Он не любил и раньше Доризо.
Он позовет друзей на карасей.
С Друзьями поглядит «Чтогдекогда»
И вместе с ними вспомнит карусель,
Которую сломали в том году,
Когда еще лежало сто дорог...

Он скажет: «Был бы дом наш Колизей,
Мне б не мешал дурацкий потолок.
И я смотрел бы в небо целый век
На ту звезду, что жарит карасей.
И я бы подарил ей фейерверк
И с ней кружился, будто карусель».

Сурок

для глаз всеобщих и ничьих
несу в фейсбук
я каждый чих
и каждый пук
и чих и пук

еще и радость и беду
несу и летом и зимой
из края в край
вперед иду
и мой фейсбук со мной

Тверская

В этой жизни надо как-то жить.
В этой жизни надо как-то смерть.
Но куда ни выберешь смотреть —
всюду виновато государство.
Ходят крысы утром по Тверской,
ходят люди, мучаясь тоской,
ходят тетки с надписью такой:
«Помогите сыну на лекарство».

У стены «Макдональдса» стоит,
улыбаясь, модный инвалид.

У него обрубок от ноги,
в левом ухе у него сережка.
У него написано вот так:
«Помогите
на
бигмак».
Люди смотрят, замедляют шаг
и дают немножко.

Вот слепая девочка поет,
только ей никто не подает
(потому что выберет народ
инвалида, чтоб свалил отсюда).
Потому что, если не фигня,
из бигмака вырастет ступня:
вот сейчас, посередине дня,
будет чудо.

Страшный сон

А я не собиралась умирать,
а я не собиралась умирать,
я в лес за земляникой собиралась.
— Надень ушанку, — кто-то говорит, —
чтоб не схватить отит на оба уха.
— Надень ушанку, — кто-то говорит, —
не то схлопочешь страшный гайморит.
— Надень ушанку, — кто-то говорит, —
у нас же не понос, так золотуха.

А я не собиралась умирать,
я в лес пришла, но там стояла осень.
Я вместе с ней осталась постоять,
надела шапку, как велела мать,
но мне и в шапке было сорок восемь.

Новость

Вот и кончился апрель.
Умер Маркес Габриэль,
Блогосферу всполошив:
Маркес? Он еще был жив?

ВДНХ

Наши ракеты
нацелены в небо,
но смотрят в землю.
ВДНХ.
Павильон «Космос»:
«Весенняя распродажа семян».

ММК¹

Мы, на планете обитая,
Привыкли думать, что планета
Всё получает из Китая,
Из сои или интернета!
А вот и нет,
А вот и нет,
Не соя и не интернет:
Магнитогорск китайцев круче.
Я видела наверняка —
Из труб завода ММК
В мир поступают облака
И тучи!

¹ Магнитогорский металлургический комбинат.

Пенсия

Старушка стащила творожный сырок.
Она получила хороший урок:
Старушку за это постыдное дело
Прилюдно ругала начальник отдела.

Господи, нет!
В наушниках Dolby Stereo.
Выбегу,
Включая громкую песню.
Господи,
Я хочу стареть как дерево,
Чтобы
Не выходить на пенсию.

Голуби

Что мне Сократ, что мне Платон;
к чему ньютонь и протоны?
Куплю я нарезной батон
(люблю я свежие батоны).

Не знаю, как прожить не зря,
что в этом мире добродетель?
Батон крошу, прохожих зля,
но доставляя радость детям.
Да, инвалидов-голубей
я тоже радую.
Быть может,
кормить их — в сотни раз умней,
чем в офисе бумажки множить,
играть с компьютером в лото,
лепить на батарею жвачку...

Пусть лучше осень рвет пальто,
как обезумевший Башмачкин.

Письмо

Здравствуй, Лиза.
До свиданья, Лиза.
Вот и всё. Спасибо за беседу.
Мне сегодня утром дали визу,
Это значит — скоро я уеду.

Было всё бессмысленно и криво,
Но была, была одна отрада.
Хороши и свежи были сливы,
Сливы из чиновничьего сада.

Не печалься: крыша над тобою,
А в окне еще такое лето!
Крутится ромашковое поле,
Целое ромашковое поле
Без ответа.

Старый шкаф

Закройте шкаф. О, бельевого сквозняк,
Как сильно дует ветер полотняный...
Б. Божнев

Туда еще не прятался никто...

В игре свою победу предвкушая —
Забраться в шкаф. Блуждать среди пальто.
Но, задней стенки шкафа не нашарив, —
Открыть глаза. А вместо шубы — ель,
И теплый снег, как драп, повис стеною,
И вертикальным горизонтом щель
От двери шкафа светит за спиною.

Свет фонаря приклеился ко льду.
Прозрачная изба, открыты двери.

Не подходи. Беги домой скорее.
Там спит колдун.

На снег сползла рогатая луна.
Лес оживает. И на фоне этом
Уже дрожат, как пальцы колдуна,
Снежинки, перечеркнутые светом.

Успеть. Вбежать. И выбрать *эту* жизнь,
Захлопнув старый шкаф уже снаружи.
— Ты прятался так долго? Ну держись!
Ты весь в снегу и пропустил свой ужин...

А после долго думать: зря, не зря
Ушел тогда, что было там такое?
Но дважды эту дверь открыть нельзя,
И до конца не обрести покоя.

Просьба

Дождь, как старая пластинка,
Так шипит, что слов не слышно.
Липнут листья на ботинки,
На афишах мокнет Пьеха.
Люди прыгают неловко
Через лужи, как по крышам.
Я стою на остановке,
Жду трамвай до Теплотеха¹.
Этот день еще не прожит.
Воду пьют из луж окурки.
Что случится мигом позже —
Правда — я совсем не знаю.
Я прошу, хоть слов не слышно:
«Здесь, внизу я, в белой куртке,
Разреши не знать о лишнем,
Дай мне просто ждать трамвая!»

¹ Остановка трамвая «Теплотехнический институт» в Челябинске.

О любви

Я, как решетку, раздвигаю строчки.
И мысль догнать не может, хоть и силится,
Как я проникла сквозь штрихи и строчки
Туда, где побежит моя лисица.

Есть у меня лишь миг, ползу по дереву,
Сидит ворона, хлопает ресницами,
Я не боюсь свободного падения,
Боюсь, что не увижу я лисицу.

«Ворона, — говорю, — подвинься, детка,
Что ты расселась, будто бы царица?
Я тоже посижу на этой ветке,
Мы будем вместе ждать мою лисицу.

Ворона, ешь свой сыр, да поживее,
В моем мешке сто плавленных томится,
Их сброшу для лисицы, пусть жиреет,
Мне ничего не жалко для лисицы».

В мой зад впились иголки старой ели,
От боли на зубах скрипит силициум.
Вороне хорошо, там пух и перья...
Но я терплю, всё от любви к лисице.

И как хочу работать я вороною,
Чтоб сыр кидать, но не кричать милицию,
Считать, что мы — как Петр и Феврония,
Но только в образе Вороны и Лисицы.

Быль

Ада шла по снежной каше
В горку с горки, по мосту
И несла кастрюльку хаши
И гремела за версту.

Шла по снежной каше Ада
В трех минутах от беды.
Отнести кастрюльку надо
В некий дом у Мтацминды.

Шла война, летели пули,
Падал снег.
И неспроста:
«Гого, гамоштеребули, —
Ей кричали с блокпоста. —
Моди, моди...» Неизвестно,
Что еще.

Ну а потом
Ада стала мокрым местом
На мосту
Сухом.

Владимир Косогов

Автопортрет

* * *

Лги, память, безмятежно лги...

С. Гандлевский

Остался колокольный звон
из детства, молоко парное,
и память крутит, как циклон,
забытое и роковое.
Вот я, картавый. Девять лет.
Совсем большой на самом деле.
Боюсь, что пачку сигарет
найдут родители в портфеле.
Потом очкарик, а потом —
жирдяй, пархатый, кто угодно —
топчу отцовским сапогом
окурки и дышу свободно.

Пиши письмо без запятых,
без букв строчных, без извинений,
к балконной раме сядь впритык,
держа полнеба на коленях,
пусть крепко ёкнуло в груди,
глуши вином шестое чувство,
и всё, что будет впереди, —
скорей погибель, чем искусство.

* * *

Ночная птица. Как ее назвать?
А в принципе — плевать.
Чирикает, как будто сострадать
Я должен ей опять,

Как будто оборвал ее полет
Такой, как я.
Дурная птаха, всё наоборот,
Ты жалуешься зря.

Ты выбрала сама мое окно,
Ты знала наперед,
Что ночью человеку так темно,
Что он вот-вот...

В такси

За дедом пол сначала вымыли,
Потом за папой подмели.
Как шпильку из-под сердца вынули,
Оставив на краю земли.

Всё это преувеличение:
Ни на каком не на краю...
Избавь меня от вдохновения,
Уважь трагедию мою.

И вывези из сада вешнего,
Куда я больше не приду.
Притормозил какого лешего?
Не это я имел в виду.

* * *

Ни амфибрахию, ни дольнику
Не доверяй пустячных слов.
Так наливают алкоголику,
Который завязать готов.

Не провоцируй Аполлоновы
Вооруженные полки,
Покуда копья не поломаны,
Не сожжены черновики.

Не арматурой, не кастетами
Навек сломали жизнь мою —
Глаголами ветхозаветными,
Незаменимыми в бою.

* * *

Секунды хватит вспомнить о душе,
О том, что мой отец уже на пенсии:
Построил дом с заначкой в гараже
И думает, что я на зимней сессии.
Поэтому не знаю, редкий гость,
Каким ключом открыть входную дверцу.
И винограда скрученная гроздь
Царапает по сердцу:
Мол, времени — до лета, а потом —
Осиротеет дом.

Январь на два щелчка закроет дверь.
И непонятно: крепость ли, берлога —
Так замело. Осталась лишь дорога,
Где призрак мой скитается теперь,
Стучится в окна, плачет у порога.

Автопортрет

коридором шел больничным
мимо глупых стенгазет
отвечая неприличным
жестом на любой привет

видел свет неугасимый
вскрыв божественный тайник
Меламеда нерадивый
неприлежный ученик

Колодец

Колодец деревенский, перекошенный
Застрял от дома в десяти шагах.
И смотрит в воду ягодою сброшенной
Кустарник на дубовых костылях.

И мой отец без посторонней помощи
Сырую глину колотил киркой,
Чтоб ковш небесный, безнадежно тонущий,
К утру достал я детскою рукой.

* * *

подкидываю дрова
в жар их переплавляя
раскидываю слова
лишние убирая
но из трубы в ответ
хилый дымок струится
это чернильный след
чтобы не заблудиться

* * *

вот свет и тьма а между ними
на деревянных костылях
застыв в нелепой пантомиме
младенца держит на руках

седая женщина и нечем
поправить траурный платок
и призраком широкоплечим
на помощь к ней приходит бог

то свет лучистый слепит маму
то тьма сгущается над ней
и держит эту панораму
первоапостольный Матфей

* * *

Советских фильмов — сплошь покойники —
актеры. И глядят в экран
их постаревшие поклонники —
эпохи целой задний план.

А ведь нелепо получается:
роль каждому своя дана.
И грим смывается, снимается
картина вечная одна.

Квартира лицами заполнится,
что за столом едят и пьют.
Они такими мне запомнятся,
как только титры промелькнут.

* * *

В пять утра запрягали коня.
И будила меня, семиклашку,
Молодого отца беготня
С полосатой душой нараспашку.
Молотком отбивали цевье,
И точили, и прятали в сено
На телеге. И детство мое
Исчезало в тумане мгновенно.
Приезжали в затерянный мир,
Где царила трава луговая,
Где небес неграненый сапфир
Рассыпáлся от края до края.
Начиналась учеба моя:
Приглядеть за работой мужскою
Мозаичным зрачком муравья,
Роговицей его колдовскою.
Кто сильнее, чем эти мужи —
Полубоги с загаром до пяток?
Шелестят их косые ножи,
У меня вызывая припадок.
Я смотрю уже тысячу лет,
Как у них за спиною ложится
Золотой деревенский рассвет —
Огнекрылая дикая птица.

* * *

Приснись мне под утро в белом, как молоко,
платье, и улыбнись, и скажи: «Легко
жить без тебя, смеяться, варить обед.
Я не скучала ни разу за восемь лет!»
И попроси отвернуться, поправь чулок,
сделай глоток из горлышка. «Одинок?

Я-то подумала, что у тебя жена
сходит с ума от ревности и вина.
Я-то надеялась встретить твоих детей —
маленьких лебедей на пруду...» На ней
белое платье, прозрачное, как дымок.
«Видишь, родная, я без тебя не смог...»

На горьком языке

I

Планы на первую пенсию:
Собраться без танцев, но с песнею
И двинуть на пасмурный юг
В самолете Москва — Каюк.
В иллюминаторе — облако.
Вышло всё, видишь, воно как!
Скрутило напополам,
Но буковки — не отдам.
Это мои клинки, мои станки,
Мои здоровые позвонки,
Они еще не хрустят, огнем не горят в ответ.
Буковкам сносу нет...

II

И звезда не говорит со мною,
Как с другой звездой.
Кран пищит с холодной водою,
Неживой водой.
Пленники храпят на всю палату,
Сестры тоже спят.
Но ко мне относятся как к брату:
Нищий духом — свят.

Всё начну с начала, но сначала
Выиграть смертный бой,
Чтобы не испачкать покрывало
Кляксой кровавой.
Чтоб летели молнии, гремело
Небо и земля.
Чтобы обездвиженное тело
Верило в себя.
Чтобы встали пленники с кровати,
Слыша этот гром,
Летней духоты, как Благодати,
Выпить перед сном.

III

Выходишь в коридор
Побыть опять никем,
Уставишься в упор
В дурацкий манекен:
Не крутит головой,
Пластмассовой ногой
Не дергает. На кой
Остался он такой?
Покурим на двоих?
Но манекен пропал
В палате для кривых
Людей или зеркал...

IV

Ушли и свет не погасили.
Одна на всём материке
Мерцает лампочка Мессии
На оголенном проводке.
К чему метафоры такие,
Где смысла не поймаешь в сеть?
Раз не возьмет анестезия,
На проводочке мне висеть...

Не для того, чтоб боль в суставах
Прошла и выпрямило грудь.
А просто есть такое право —
Уйти и лампочку свернуть.

V

Шершавой проведешь ладонью
Мне по лицу, когда опять
Из светотени заоконной
Войдешь и сядешь на кровать.
Бульон из двухлитровой банки
Поможешь в кружку перелить,
Застынешь взглядом на каталке,
Мол, что поделать — надо жить...
«Что принести тебе наутро?
Поговори со мной, сынок!»
В ответ тебе киваю, будто
Вопроса разобрать не смог.
Ведь это же не ты со мною
Заговорил на языке
Предсмертной радости с любовью,
На самом горьком языке.
На нем, обученный молчанью,
Боюсь иссушенной гортанью
Произнести в последний раз:
«Не оставляй — несчастных — нас.
Побудь со мной еще, покуда
Хватает сил не звать врача.
Я скоро выпишусь отсюда,
хребет надломленный влача».

Анна Маркина

Love is

* * *

И год, и день, и город выцвел.
Бульвар, закутанный в овчину.
И желтолицей проводнице
седыми кажутся мужчины.

Запеленать, запеленать их...
В снега всех тех, кто видит снизу,
как водит царственный лунатик
толпу по тонкому карнизу.

И в окнах, окнах окаянных
всё снег да снег да снег степенный.
Как будто смотришь в шар стеклянный,
смотреть, смотреть до отупенья,

как под надзором желтолицей
проходят пассажиры пестрые
и как, расснежившись, в больницах
порхают сонные медсестры.

И ночь идет по огородам,
по засыпающим кварталам.
А снег, приглядываясь, бродит
за группой школьников отсталых.

Черствеет хлеб, еще не старый.
Вложив последнее в конверты,
дежурят ночью возле смерти
черствеющие санитары.

Триптих

1

Заглянула вглубь,
за грудную клетку,
посмотрела под, под другим углом,
а там бабочки на вертеле над костром,
мокнул носом клюющие рыбаки,
и такуууущие холода, пробивающие все лета,
и стреляет, стреляет, словно из пистолета.
Ты такое не то, такое не оправдавшее
ни строки,
что тебя и любить не стоит,
а надо.

2

И если земляника, то пускай
не у тропы, не под сосной пушистой, —
у рельсов или кладбища, где полдень
так легкий, будто взбит он из белка
и с сахаром приятно запечен,
чтоб горечь наложилась на душистость,
чтоб все — в компоте, даже черноплодка.
Еще с цветами приносите пчел.

3

Разойдется — закрепíš булавкой,
деньги кончатся, сваришь рожки,
так пружинишь себе понемножку,
и кольцо с умеревшей руки
уже отдано на переплавку
в потерявшуюся сережку.

* * *

Такая нежность тайная, темноты,
как будто заперт в ребрах соловей,
и сколько звука в нем, дождя и сил!
Как будто и не кровь в тебе — глинтвейн,
в ней колются добавленные ноты:
гвоздика, кардамон и апельсин.

Ползет над парком желтая улитка.
Листва еще дрожит на ряде свай.
Прощаешься до будущих чернот,
целуешь на прощание, бывай...
И ночь, из земляной прохлады выткана,
в которую врывается, как крот.

И так лежишь, сиянием охвачена,
и нежность, ослепленный поводырь,
выводит сердце прыгать на карниз.
Напоминает розовый пузырь,
старательно надутый из жвачки.
Пожалуйста, не лопайся. Love is.

* * *

Гремучий свет залазит под листву.
Что ищешь ты в игольчатом стогу?
Опять живешь? На берегу живу.
На берегу горячем. На бегу.

На пляж ношу театр и инжир.
В коричневом пальто скучает Майкл.
— Тебе не жарко, Майкл?
— Не скажи.
Вот фоточка. Вот я и мо...ре/эм.
Лайк.

И дынный жар — в разбитое окно.
Сметана начинает прокисать.
А виноград проходит через сад
сквозь стену на бутылочное дно.

Хожу на пляж. Сметана и инжир.
И машут с корабля — давайте к нам.
Нет-нет. Я на бегу. Я по волнам.
Банановый прибрежный пассажир.

* * *

Как пьяница, взорванный водкой,
Что начал крушить ресторан,
Скандалит буран на Чукотке,
Винты выгибает буран.

Башмак не находит Акакий.
В доме застывает Любовь.
Летают, летают собаки
Замерзшие между столбов.

Здесь кадр до снега засвечен.
Здесь Бог нажимает пробел.
Нелетная стайка буфетчиц
Чирикает про Коктебель.

Там видится день им хороший,
Пришпиленный мачтами яхт,
И там принимает Волошин
Прошенья на теплых камнях.

Сбежать бы, сорваться. Но надо
На школу, на обувь... Но как?
Собаки летают. Анадырь.
На крыше гнездится башмак.

* * *

— Итак, — приступил барышник, — вот этот стоит
совсем недорого и может еще хорошо послужить.

Борис Виан

Представляешь, как же так можно, скопом?..
Пока в небе шла выпечка облаков
с солнечным сиропом,
на земле проводили аукцион,
торговались за стариков.

Публика была собрана и строга,
то и дело с табличкой вытягивалась рука —
лишь бы, лишь бы не проморгать
подходящего старика.

Был один превосходный лот:
грузный и серый, как кашалот...
Но ушел, к сожалению, за бесценок.
Приобрел его хозяин дорогого особняка,
посадил в углу
в декоративных целях.

А еще запомнилась (даже страшно,
как же годы бывают злы!)
неудачливая актриса, вышедшая в тираж, но
сохранившая статью и отзвуки благородства.
Некрасивая дама взяла ее мыть полы,
чтобы та оттеняла ее уродство.

Были двое (пара) — просили не разлучать.
И за них все поднимались и поднимались руки
полчаса или, может быть, целый час.
Они, видимо, умудрились набить оскомину,
раз их продавали внуки.
Чья взяла — не помню уж.

Я ведь тоже могла бы купить кого-то,
устроить своей свекровью,
чтоб нудела о времени, о здоровье

да была засохшая, как смола,
чтобы пахла ивой, шалью и молоком,
ну, ты знаешь, просто была порядочным стариком,
я б такую приобрела.

* * *

Лежала комната, что камень,
что темный трюм;
отрезки штор не пропускали
в нее зарю.

А снег метался, как опальный,
почти сиял...
Но было так тепло, что спали
без одеял.

Смущался утренним румянцем
небесный свод.
И в государстве год сменялся.
Сменялся год.

* * *

Были ночи плотные и кручинистые,
домочадцы меркли во сне непрочном,
на задворках вымазали горчицей
березняк, и травы, и сквер у почты.
Мы, худые, с выраженными ключицами,
отражались в окнах веранды дачной,
и в зеницах луж, и глухих колодцах,
по карманам шарили незадачливо,
будто что-то из них прольется.
И душа, душа — один всплеск мозаичный,
к телу горестному привязанный.
А вокруг октябрь, деревья тлели,

и заборы зубы губами вязовыми
прикрывали гниль и свое старенье.
Стерegli аптекари долговязые
дубью кожу, календулу, почки вербные,
запасали для плачущих жен пустырник.
Что нужней всего, уходило первым.
Но хранимы китайские шлепки с рынка,
пережившие столько, что и меня... наверное.

* * *

Проведено цветение непрочное
по улице, по городу, сквозь май,
сквозь хмурый, осовелый политех.
А молоко сбегает по плите,
как бледная аптекарская дочка, —
поди поймай.

И ветерок каштановые груди
прощупывает с мягкостью врача
и запахи разносит по предместьям,
как будто бойфренд брошенный (из мести)
подарки отбирает у подруги —
так, сгоряча.

Ешь кашу и растешь себе покамест,
как некое подобие гриба,
не найден, не открыт, не покорежен.
Протянут в небо — ржавая труба,
куда ведет она, где подтекает,
не разберешь.

Максим Матковский

В это трудно поверить

* * *

на кладбище у всех закрытые профили,
видно только фотографию и даты,
писать бесполезно — заблокировано,
но важно приходить среди ночи,
сидеть возле могилы,
трогать холодный гранит молчания
и думать: а что если бы она открыла свой профиль,
какие у нее теперь фотографии,
кто ее друзья
и с кем у нее сейчас всё сложно?

* * *

в непризнанной республике нет ничего признанного,
яблоко, трактор, река — всё это непризнанное.
непризнанные люди так и говорят: это вы все непризнанные,
а мы — признанные... признанные!
но дело в том, что их не слышат,
потому что их голоса тоже непризнанны.
их страны нет на карте, их гимн звучит примерно вот так:
трынь-брынь, брынь-трынь, дрынннь!
недавно, правда, мировое сообщество признало
штаны непризнанных людей невидимого государства,
однако признало лишь маленькие такие прозрачные штанишки
из папиросной бумаги.

* * *

когда протекло колено под мойкой,
когда в дом залезли воры,
когда жена изменила,
он сказал: я напишу про это прекрасные стихи.
он сел писать про это стихи,
но стихи были плохими,
а из всего, что случилось,
можно было исправить только колено под мойкой,
что он и сделал,
колено больше не текло,
и он решил про это тоже написать стих.

* * *

я вот что не могу понять: люди отдавали жизни,
гибли, недоедали,
прошли через пытки, лишения и тюрьму,
чтобы ты, скотина, мог читать книги,
которые ты хочешь читать?
чтобы ты, жертва пропаганды, мог смотреть фильмы,
которые хочешь смотреть?
чтобы ты, скотина, разговаривал на языке скотины?
чтобы ты, жертва пропаганды, сомневался в истории,
которую для тебя написали наши патриоты?
люди жертвовали всем ради того,
чтобы ты
не смог купить себе книжку,
которая может тебе навредить, — ради твоего же блага
люди старались!
так неужели тебе так тяжело хоть в чем-то ограничить себя?!
возьми тряпочку, помолчи в нее, если не соображаешь,
если балаклава не налазит на твою наглую морду.

* * *

он подъехал к женщине на обочине возле Окружной
и спросил:

— почем стих?

она ответила:

— с рифмой четыреста гривен, без рифмы — двести гривен,

он сказал:

— ладно, давай без рифмы, садись.

и открыл дверь.

она села.

через неделю он заболел и пошел к венерологу.

тот спросил:

— это рифмованные?

— нет, — ответил он. — верлибр.

— ну хоть с плавающей рифмой? — спросил венеролог.

— да какой там, — ответил он. — проза в столбик.

* * *

мне поставил лайк сам Виктор Пелевин,
и я понял, что моя литературная судьба решена.

и я написал своему издательству и редактору:

да пошли вы, падлы, да пошли вы на!

но когда я зашел на его страницу, то увидел,

что это никакой не Виктор Пелевин,

а его однофамилец из Новосибирска.

у него была фотография: с кривой новогодней елкой

и столом, полным людей, все были в плохих одеждах

и ели шашлык.

сам он был коротко стриженным пьяным в тельняшке.

я спросил: вы случайно не родственник Виктора Олеговича?

а он ответил: чё ты гонишь, мудень,

диктуй адрес, ща подъеду в рожу дать.

* * *

твои стихи опубликовали в журнале октябрь и его закрыли
твой рассказ взял новый мир и стал он миром прошлого
твою повесть опубликовала москва и ее обвинили
журнал знамя напечатал твой роман
и все знают что было
прекрати уничтожать толстяков
дай главредам доработать
они вон какую жизнь прожили

* * *

когда умер — решил об этом никому не сообщать.
через полгода позвали на фестиваль.
оплатили проезд, проживание и питание,
сказали: у вас будет пятнадцать минут.
он обрадовался и поехал на международный фестиваль,
то, что он труп, — никто не заметил,
ведь многие выглядели даже хуже, чем он.
берегите себя, говорили ему молодые поэты,
которые надеялись, что он поспособствует их
публикации в каком-нибудь толстом журнале,
или еще надеялись на что.
просто я сейчас езжу с фестиваля на фестиваль,
отвечал он, очень устал, такова жизнь.
и молодые поэты понимающе кивали —
они тоже мечтали быть уставшими поэтами,
которые ездят с фестиваля на фестиваль.
когда он вернулся на кладбище,
мертвецы его спросили:
где ты был?
читал стихи на фестивале, ответил он.
мертвецы спросили: ты что... поэт?
да, ответил он.
мертвецы сказали: хи-хи, хи-хи-хи.

* * *

в это трудно поверить,
но раньше мужчины не рожали детей,
раньше мужчины возвращались пьяными с работы,
а наутро их женщины с ними не разговаривали,
но мужчины покупали им меховые шапки — и женщины
прощали их,
раньше мужчина много не болтал, был грустным,
и если говорил — то ругался.
такие были времена, внук,
в это трудно поверить, будучи на шестом месяце беременности,
но так всё и было еще до того, как твой отец родил тебя,
до того, как я родил твоего отца,
до того, как мой прадед родил моего деда.

* * *

бабушки-писательницы, дедушки-писательницы,
папа-писатель, мама-писатель,
сестры-писатели, дяди-писатели, тети-писатели —
все в семье были писателями,
всем едва хватало на коммуналку и на еду,
но и то хватало — не из писательских денег,
а из стыдных заработков...
и вот однажды сын вернулся из школы и сказал:
я не хочу быть писателем!
бабушка-писательница упала в обморок,
отец-писатель снял ремень, мать-писательница заорала:
ах ты, сволочь такая, мы тебя кормили-растили!
а кем же ты хочешь стать, маленький debil,
спросил племянника дядя-писатель.
я хочу настоящую профессию, ответил сын.
ты хочешь целыми днями в говне ковыряться, заорала мать,
нет, только через мой труп!

* * *

она закончила литинститут,
не пропустила ни одного форума,
критиковала, редко хвалила, никогда не восторгалась,
много писала, еще больше читала.
но всё равно писала паршиво,
ужасно она писала: «бэ мэ бэ мэ».
и тогда она вышла за знаменитого писателя,
всюду с ним ездила, и в Воронеже,
и в Иркутске, и в Грязях с ним была,
фотографировала его, а на критиков кидалась.
за рубеж писателя не приглашали,
потому что он был каких-то там странных взглядов.
и вот ты сидишь сейчас и читаешь книгу
того самого писателя,
а главный герой рассказывает другу про свою жену:
— придушил бы суку, но сидеть не хочу.

* * *

на форуме писателей ко мне подошел писатель,
он предложил:
— давай ты мне подаришь свою книжку,
а я тебе подарю свою?
пришлось согласиться, ведь он так улыбался.
его книгу я оставил в тумбочке, в номере,
из которого через день съехал.
думаю, мою книжку он довез домой
и поставил на полку рядом с другими книжками
молодых писателей, он выглядел таким человеком,
который собирает дома книги молодых писателей.
иногда он приходит ко мне по ночам,
стоит возле кровати хмурый и упрекает:
как ты мог, я ведь от всей души.

* * *

с чего ты взял, что людоед — это плохой человек?
послушай, жертва пропаганды.
людоед — это человек с убеждениями,
он религиозный, полезный член общества,
прививает своим детям любовь к родине, родному языку,
он уважает стариков, работает на благо государства,
а по выходным со всей семьей ходит в церковь,
иногда ест человечину, что же здесь такого,
неужели тебе жалко для человека,
который борется за твое будущее, хотя бы один палец,
хотя бы двух пальцев?!

у тебя же их целых двадцать.

* * *

мне обещали
кораллы, море,
еду и женщин,
пирс длинный, катер,
путевка дорогая,
приехал — и нет там ничего.
в пустыне мертвые стоят,
и каждого я знаю,
о боже, лучше бы меня отправил ты в Гусятин,
не нужно мне Египта твоего.

* * *

ты уедешь в Мадрид — я уеду в какой-нибудь пгт Корчеватый,
ты уедешь в Будапешт — я навещу кого-нибудь в Глевахе,
ты пришлешь фотографию из Женевы,
я пришлю тебе фотографию из Малаешт и Суклеи.

и когда мы умрем — непременно ты в рай попадешь
без визы и сумку твою никогда не потеряют,
а я умру и буду возле кладбища где-то бродить,
чтоб на вечерней маршрутке уехать в Бычатню.
однажды встретимся мы в магазине для мертвецов,
ты спросишь: ну, как сложилась твоя загробная жизнь?
всё хорошо, я отвечу. В пгт Корчеватом вчера пропала
коза и корова.

* * *

он пошел в парикмахерскую и сказал:
— отрежьте мне, пожалуйста, голову.
постригли быстро, за стрижку взяли сто гривен,
голову его вместе с волосами смели и выкинули.
он шел по улице без головы, курил шеей,
чувствовал себя так легко, так хорошо,
постригли на лето — короче некуда.
дома жена сказала: Женя! ты совсем уже?
на работе и родители ничего не заметили.
по утрам любил перед зеркалом подолгу стоять —
наконец-то себе понравился.

Григорий Медведев

От Яузы до Клязьмы

* * *

От вокзала пятнадцать минут,
даже десять, и хватит рублей
на такси, только дома не ждут,
и чирикает брат воробей.

По предместьям метет суховей,
жаркой пылью слепит из горсти.
Для Итаки уездной моей
где Гомера бы впору найти?

Здесь пятиэтажный уют
воспоеет пусть, вернее, уклад.
Оглядись — всё по-прежнему тут,
двадцать лет ли пройдет, пятьдесят.

Только время другое на вкус —
соль привита к его веществу.
Больше соли — удерживать груз
на поверхности, на плаву.

Я добрался, родная, встречай,
не торчи там столбом у дверей.
Поцелуй меня невзначай,
чтобы стало во рту солоней.

* * *

1

Это прабабка моя Наталья в саду.
Позади нее кущи, тьма.
Над нею разлит свет.
Пережившая две мировые войны.
Пережившая трех сыновей.
Ростом чуть выше куста крыжовника.
Держит правнука на девяностотрехлетних руках.

Тонкие косточки птичьи
не по зубам оказались веку.

Восьмого июля тысяча девятьсот
непредставимого года —
надпись на обороте.

И не кончается летний день.

2

Я знаю, что уже по весне, прямо под Пасху,
прабабка моя Наталья умрет.

А потом через год, в апреле,
когда мы приедем на кладбище,
указав на могилу, на холмик сырой,
я спрошу: что там с ней стало?

И, слово едва подобрав, ответят: она истлела.

А мне по созвучию представится лист,
прошлогодня эта листва на дорожках.

Так про себя навсегда и отмечу:
прабабушка стала листком.
Кладбищенским, палым, кленовым.

Ветер ее унес.

* * *

Ночью время шумит, убывая,
мчит по выделенной полосе.
Путь-дорожка пылит столбовая,
неширокое это шоссе.

Помню, школьником был, шалопаем,
и уже одуванчик зацвел,
я с уроков сбежал на футбол,
а очнулся вдруг за шеломянем.

В этой взрослой постели бессонной,
тесной жизни своей взаперти
славий щекот и гул монотонный
слушаю до пяти, до шести.

Соловей надрывается сладко,
только, братия, солон полон.
Обступила со всех-то сторон
тьма, и воеет вдали Ярославка.

* * *

Так обреченно в феврале,
как накануне казни,
снега стоят по всей земле
от Яузы до Клязьмы.

И некуда бежать от них,
клейменных, ноздреватых,
от пытаных снегов своих,
да поздно горевати.

Так думал неудельный князь
страны своей заплечной,

с картонным ярлыком катясь
отсюда до конечной.

Потом он брел, косился вверх,
где вскоре вновь прописан
окажется подножный снег —
на бланке темно-сизом.

* * *

Жил каждый день, но почти ничего не помню
из того времени — только как после звонка
вошла и, на нас не глядя, сказала: «Ночью
Миша наш умер» — учительница Валентина
Егоровна и закрыла лицо руками.
Неправда — второклассники не умирают.

Не успев таблицу доучить умноженья,
ни Родную — учебник синий — речь до конца
освоить, ни с машинами вкладыши Turbo
и Bombimbom целиком собрать, третью четверть,
самую долгую, не пережил он. Через

день или два повели нас всех попрощаться.
Было начало марта. Мы входили туда,
к нему. Какие-то причитали старухи.
Миша лежал не похож на себя. Я видел
веки его приоткрытые. Мне не было

страшно — было неправдоподобно всё это;
когда его мать заголосила: «Воскресни,
сын, воскресни!» — я наконец-то заплакал:
второклассники умирают. Неба и птиц —
многого, многого он не увидит больше.

Лошадь тащила его по мерзлому полю
почти километр, пока он в стремени бился.

Похоронили Мишу на родине — в Курской,
кажется, области или Орловской, не здесь.

Долго я, до конца весны, всё думал о нем:
что за сны ему снятся, видит ли он меня?
Но стал забывать, когда наступило лето
с насекомым царством своим и муравейным
братством, с крыжовником, с яблоками такими,
каких у нас не случалось ни до, ни после.

* * *

Август стоит на Яузе,
на невеликой реке.
Осень стоит на паузе
где-то невдалеке.

Перелетает капустница
реку, недолог полет.
Жарко, а сумрак опустится —
холод с низин поползет.

Но никогда не смеркнется,
птичий не смолкнет хор
для мимолетной смертницы,
хрупких ее сестер.

Не для таких — гололедица,
стужа, поля в снегу.
Вряд ли нам выпадет встретиться
там, на другом берегу.

Лето уходит нехотя
вниз по теченью, на юг.
Где же капустница? — Нетути.
И пустовато вокруг.

* * *

Хорошо нам идти через двор заросший
рука об руку узкой тропой-дорожкой
мимо трав и сонных пятиэтажек,
миновав по доскам сырой овражек.

Неподвижны стрекозы, деревья, время,
и сам воздух стоит. Придавило темя
флорентийской выделки облаками.
Только не Италия под ногами.

Хорошо нам вместе полуднем потным,
а давно ли идем, мы уже не помним.

Никогда не вернемся с больших каникул.
Не по нам ли зеленый смычок пиликал?
Не по нам ли, сердешный, он пел без фальши,
от него уходящим всё дальше, дальше.

Так и будет длиться прогулка эта
до скончания дня, до исхода лета.
Облака, ромашки, шмели, цикады.
Никого не встретим, да и не надо.

* * *

Это «Дон» — федеральная трасса.
Впереди по ней дом, сад, терраса.
Триста верст перелесков и пашен,
весь маршрут желтизною подкрашен.
Будто для оживленья ландшафта,
то корова мелькнет, то лошадка,
и встает по ту сторону Тулы
над полянами месяц сутулый.

Я доехал, сошел у проселка.
Этой ночью прощального толка
хорошо мне сидеть на скамейке
под навесом, как в давешнем веке.
Двадцать лет тому — дом еще прочен,
слом не начат и сад не подточен.
Подбираются тени к огню.
Оставайтесь, я не прогоню.

До весны разобрали теплицы.
Хорошо у костра нам сидится,
тлеет медленно стебель за стеблем,
и стоит тишина над подстепьем.

Василий Нацентов

На всякий случай

* * *

Не Россия, а осень — повсеместная, злая.
Я ее изучил, будто птичий язык,
и прошел наизусть, прокатился, как слово во рту,
по пустому вокзалу —
в темноту перегонов, в немоту длинногорлой страны.
Там, в утробе казенной,
свет не бел, а беспомощно был,
тень свою волоча,
я забыл этот свет,
как прогорклые детские слезы.
Всё, что я не любил, всё, к чему я привык, —
не безлиственный осени свет,
а вода мировая.
Я провел в старой книге, наверное, тысячу лет —
так под снегом лежит материк,
замерзая.
За окном не вода мировая,
а глупый воронежский дождь —
тихий, как трава и усталость.
Это всё, что останется, это всё, что осталось, —
на продавленном низком диване
спать с любимой и слышать
шелест поздних машин,
уносящихся в страшную ночь.

* * *

А таять начинало в феврале,
в десятых числах, к Сретенью Господню.
Я жил гораздо меньше на земле,
чем не жил. То, чего я стою,
уместится в синичий черный клюв,
да выпадет, да вырастет, согнется.
И будет снег и солнце к февралю,
и снова снег, и снова будет солнце.
А таять начинало. И в дыму —
цигарочном, густеющем, тягучем —
мы уходили вдаль по одному,
но оставляли след. На всякий случай.

* * *

прилетели скворцы
и заученность черных аллей
тяжелеет от свиста
синеватые перья
отливают и мокнут
и речист умирающий снег
и кленовая ветка речиста
говорю и курю
замедляю шаги замедляю
так кончается эта зима
мало воздуха ветра
только капли в гниющую крышу
только сонных волос кутерьма
так врезается в небо
вертикаль человека и дыма
и туманен и тесен
от воды и от свиста
убывающий медленный сад

* * *

Запрусь на кухне, выкурю одну,
как сигарету, — длинную страну.
Ее не выбирал и я, но как
в хрущевке невесомо и светло,
молчит окно, в которое мело
со всей земли и свет, и мрак.

Я на засохшем дереве — в кулак
живая ветвь зажатая — никак
не выпрямиться — упираюсь в твердь
небесную, в беленый потолок
дурною головой, но между строк
пространства столько, что любовь и смерть —
одно и то же, если посмотреть,
что умирать, да вот не умереть.

Четыре на шесть — кухонька легка,
как дождь и дрожь зеленого листка,
и может аккуратная рука
его сорвать и в небо запустить.

А я хочу спокойно докурить.

* * *

Этот ветер в сирени —
через время и слезы —
близна белизной.
Тонкий голос прабабушки Лены —
дрожащий, резной.
Я не слышу его, я не слышу,
только видится он —
бахромой, лепестками —
на покатую мокрую крышу,
в синем сумраке ломких окон —
руками,
невесомыми, сонными, теплыми.

* * *

как темнеет за пластиковым окном
как немо оно и гладко
как строги его черты
как темнело за деревянным окном
я почти не помню
но горчат шершавины рамы
и заклеены щели малярной лентой
и слышен дождь заоконный
и загробная груша слышна
ты сидишь а дом
качается и летит
ты сидишь а дом
освещенный одной сигаретой
безответно мигает
и темнеет темнеет

* * *

О, ты не бережешь последних пчел страны
земного заколоченного лета,
и пуговики на детской рубашонке
смеются, отлетают и звенят.

Нательный крестик колется, и я
поверх рубашки надеваю крестик,
когда иду от солнечной реки,
на брызги разлетевшейся и ставшей
то окриком, то взглядом рыбака.

Тропинка безъязыка и легка,
как лист бумаги,
но глаголют травы,
жуки и птицы
о любви моей.

Молчат о равнодушии твоём.

* * *

Когда черная птица над белым летит снегом
и пахнет мокрой корой и зацветающим мхом,
я кажусь себе выродком и лохом,
засохшим виноградным побегом,

до сих пор пытающимся достать
чердака, где хранятся тяпки, ключи, лопаты,
взгляд и выдох, моя тетрадь,
воздух мятый.

Это всё о весне и твоей руке,
о черной весне и белой твоей руке.

И уходят прочь налегке — легке.
Только речь становится талым снегом.

* * *

Рубили сливу, ветки я носил,
к себе прижав, на мусорную кучу,
и набирались зрения и сил
они — сухие —
ветер, пыль и Тютчев.

Не высмотреть, не выплакать, в глазу
размером со слезу клочок ландшафта.
Я слово через смерть свою несу
и возвращаю музыкой обратно
дорогу, дым и шелест рук, и труд,
и мир, и май как триединство света.
Так после слова повториться тут
на крыльях ласточек сквозь сад
и страшный суд
и вылететь в распахнутое лето.

* * *

Какое лето — лето мотылька,
недужный шум на скошенных ресницах,
от тесноты и немоты не спится,
и в рифму упирается строка,
как луч вечерний в бледные колени
и влажным носом постаревший пес:
и одиночества, и нежности боясь.
О, благодать молчания и август —
для молодости — страх и удивленье,
предчувствие грядущей немоты.
Изгиб коленей, поворот строки,
в не-смерть всего несказанного вера.
Мычу травой, но звук неповторим,
гляжу стрекозами, но взгляд неповторим,
и проще быть не встреченным, одним,
и знать наверняка,
что знает только ветер —
какое лето — лето мотылька
в чужом саду, на слишком белом свете.

* * *

Осенней бабочки неровен час полета,
в ней, безъязыкой, тишина и свет.
Я вместе с бабочкой родился для чего-то
надмирного. Меня, наверно, нет.
До слов о смерти и до всех смертей —
пророчества незримая работа —
седьмое небо от седьмого пота
за письменным столом моих локтей.
Бессмысленный уют, но мы вдвоем
еще не знаем,
что дом, несокрушимый дом,
с огромным деревом
уже построен нами.

* * *

странные эти слова грядущка амбар вехотка
выткались паутиной ласточкиным крылом
сколько прошло но так же памятно и строго
время и пыль вжались в следы голубых слез
за спину руки ходишь комнату расширяя
шепотом и шагами комкаешь тишину
если и было счастье в этой стране великой
то это было счастье снега любви и слов
пахнет паленой водкой на глубине стакана
на глубине и в горе вечнозеленых глаз
значит так надо надо бледные и немые
абрисы человечков кружатся на столе
тают и умирают
тают и умирают
тушью весенней грязью веточкой каблучком
только слова садятся
на освещенном крае
только слова садятся
только слова молчат
смотрят и не моргают
смотрят и не моргают
будто цветок последний в детской моей руке

* * *

Переводить вечерний дождь
на свой язык синиц и листьев.
Дорога легкая, как дрожь,
и длинная, как выстрел.
Наш паровоз вперед летит
уже без остановки.
И ни винтовки впереди
и ни одной Каховки.
Так никогда не умирать —
лететь, лететь и таять.
Какая чистая тетрадь! —
тяжелая, как память.

* * *

Не о детстве, не о солнечном детстве,
не о городе — дымном, сыром и чужом —
о снежинке, на которой такой же Нацентов,
стол и лампа — за окном, будто за рубежом,
где пространства вполне — широка моя родина снега.
Только времени нет. Запятая и белая боль
забирают меня одного —
перепончатой тенью стрекоз,
крутобровым обрывом реки
забирают с собой.
Потому не о детстве, не о городе, не о реке —
о весне, неизбежной и рыхлой, о седом мотыльке
и о том, что оттаяла речь и горчит на моем языке.
И шершава она. И печальна.

* * *

На берегу реки — кусты, костер,
на берегу строки — синицы.
Стоишь и упираешься в простор,
не в состоянье в слово воплотиться.

Но травы и деревья чередой,
как музыка по нотам, — вдоль забора
над черной и тяжелой водой
за такт, за рифму до зимы и хора

промокших веток, ветра и моста,
под лбом широким в плоскости листа,

в предчувствии любви и снегопада.

* * *

мы двое мотыльков
растерянные возле
вечерних тихих свеч
похожих на стога
о том что будет сын
сиреневый как воздух
о том что нам с тобой
лететь на берега
ладошками ливны
на ангельские плечи
ты знаешь умирать
нельзя по одному
тебя ревную к рифме
своей же странной речи
к лежащей сигарете
к раскрытому окну
и долгая река
рукав рубашки хочет
о черная вода
о белая строка
я оказался вот
александрйский прочерк
но верная рука
но верная рука
еще чего-то значит
и веткой спорит с ветром
и веткой спорит с ветром
и деревом стоит

Серафима Сапрыкина

Песочные братья

Посвящается Дмитрию Дмитриевичу Гальцину

* * *

За ниточку, на ощупь,
Сквозь воздух крепдешиновый
Невидимый закройщик
Со швейною машинкою
Идет косыми строчками,
Стежками да неровными,
С кем встретится воочию,
Тому не поздоровится,
Тому слова раскраивать
И славить точки-вытачки.
...И ходим неприкаянно
По ниточке, по ниточке.

* * *

Умыла твердь водица талая,
Для зренья выбор невелик —
Березка умственно отсталая,
Немыслящий, увы, тростник.
Глаз отмечает без усилия —
Пейзаж разбит параличом.
На небе звездочки пульсируют,
Невиноватые ни в чем.

Господь, твои обильны пажити
Не по плечу твоим рабам,
И на юру архангел ряженный
Поднес свисток к сырым губам.

* * *

Всё то, что приближало нас,
Теперь одна межа.
Скрипят деревья, жалуясь,
Что им не убежать.
Обетованной местности
Рассыпалось панно.
Я видела телесное,
Мне нравилось оно,
А ты стоял и заново
Ощупывал кадык.
И яблоня та самая
Раскинула плоды.

* * *

Будет хлеще раз от раза,
Во сто крат позорней.
Скачет лихо одноглазо,
Обло и озорно.

Раздает всем по коврижкам,
По серьгам, сараям,
Выдает себя за ближних,
Дальних отбирает.

Вот и пусть. Пусть без возврата
От меня их гонит.
Я люблю тебя как брата,
Лихо дорогое.

* * *

Беззащитной пашней
Дразнит оком.
Пан ты мой пропащий,
Нещечко мое.
Я машу платочком
Из-за той черты,
Где шаги неточны,
Берега круты.
У летеиской речки
Бродишь, наг и юн.

Я стою навечно,
Истово стою.

* * *

Широко и озорно
Ситом машет вечность,
Мелкое пестрит зерно,
Старческая гречка.

Дробный стук — пора,пора,
Грозные кимвалы.
Женщина с приставкой пра-
Из зеркал кивает.

Знаком крестным осенит:
Не тоскуй о прошлом.
Туфли впрок припасены
С мягкой подошвой.

Ясноок, равновелик
За тобой идущий.

...В зеркалах метнется блик
И исчезнет в гуще.

* * *

Где вы, песочные братья,
Вьетесь друг другу вровень?
Глубже пустынь впадин
Выемка между ребер.

В эту погрешность ветер
Входит и крепит гнезда
Из невесомых веток,
Прочных, как сам воздух.

Где ваши кости, мощи,
Небытия скитальцы?
Я только вещь, не больше
В ваших застывших пальцах.

* * *

Головоломка та еще:
Хрусткий ледок опасный,
Снег, добровольно тающий,
Изморозь — лейкопластырь.

Тяжкой водой омытые,
На берегу распластаны
Пасынки речи, мытари,
Косноязычные пастыри.

Ангельских слов паронимы
Упоминавшие всуе,
Что мы тогда затронули
С чем мы соприкоснулись?

Что теперь делать с истиной,
С колким ее хрусталиком
В этой зиме неистовой,
В топкой геенне маленькой?

* * *

Агнец взвыл из-под ножа:
Никому меня не жаль,
Я бессмысленная жертва,
Несъедобный урожай.

Возврати меня в сады,
Я иным судом судим,
Отпусти меня в пустыню,
Поцелуй мои следы.

Агнец, агнец, ты мой сын,
Золото моей весны.
Как твои полночные очи
В эти страшные часы.

* * *

Смотрит — закидывает петельку
Легкой витой змеей.
Не милосердствует,
Не долготерпит,
Ищет везде свое.

Льется водичка, щекочет водичка,
Сны неумны и зловещи.
Сам себя ловит,
Хватает с поличным,
Делая страшные вещи.

Сам себя возит на саночках смерти,
Катит их вдоль руин.
На руку, как
На расплавленный вертел,
Дни надевает мои.

Слово мое, оставайся словом,
Плотью не обрастай,
Не исполняйся,
Храни невесомость
И не сходи с листа.

* * *

Верещит воробьиное радио,
Голосов заглушая гам.
Их коротенький праздник свадебный,
Волхования злой тамтам.
Подчиняясь внезапной прихоти,
Я тянусь безотрывно вниз,
И внутри меня зреет тихая
Чревоточина, атавизм.
Это дар упраздненной гласности
Мстит мне пристально и умно,
И чирикание птиц опасное
Потешается надо мной.

* * *

В церкву
Не ходишь,
Поганый,
Поганый,
С бесами,
То бишь
С богами
С рогами
Знаешься.
Бог тебе, что ли,
Не фраер?

Мало пороли?
И адом и раем
Мало стращал
Тебя батюшка святой,
Мало кровинушки
Отдал Распятый?
Мало кровинушки
Выпил распятый?
Еллин, лещей
Тебе мало, не пуган,
Идолище
Навозвел в красный угол.
Милый не мил мне
И сужен не ложен.
Крепкий, всеильный,
Спаси меня Боже.

Иван Стариков

Всё ещё здесь

Псков

А. С.

черен ход в империю
западные задворки
некогда был
сравниваем с парижем
ныне аквариум
с рыбами на руинах
забыли включить продувку
кремль по-прежнему
напоминал огромных размеров макет
редкие яблоки с глухим стуком
падают в запущенном саду
некогда собирать
некому

путь туда
зарастающими полями
(ничего страшного
смена сообществ)
маячками аистиных гнезд
сквозь уже лиловое
нас догоняющее небо
да ценниками
под пыльным стеклом
придорожного ларька
чай с сахаром
чай с лимоном
чай с собой

Полярник

полвека назад
он с легкостью водил
санно-гусеничные поезда
от мирного до востока и обратно
переключая частоты
под черным небом
с незнакомыми звездами
сквозь снеговое ничто

потом снег вернулся к нему
и уже не уходил
его становилось всё больше
за ним и холод

теперь он водит себя

от
комнаты
до
сортира
от
сортира
до
кухни
в
кухне
включить
радио
чтобы
услышать

об успехах освоения арктики и антарктики как заявил президент арктическая акватория по-прежнему сфера особых интересов россии патриарх кирилл посетил антарктическую станцию и провел службу далее реклама гороскоп и новости из жизни звезд никуда не переключайтесь

Ярославль

Н. Н.

поздняя весна
саврасовскими грачами за которослью
зарянкой соловьем разливом
тысяча лет по рублю за каждый
ромбические шатровые века четыре
загляни за волгу
что ты хотела сказать мне? ах это
даже «мужик с тортом» бы удивился

одиннадцать лет назад
шесть утра дымка сзади звука мотора нет
вывернутый руль
удивление осязание осознание
я всё еще здесь

* * *

тевтонские рыцари
уйдя под чудской лед
насовсем не исчезли
превратились в закованных в панцирь
сумрачных раков
новгородцы
тоже не все вернулись
многие стали
юркими окунями плотвой линем
станция «площадь александра невского — 2»
кольчугой стен
иногда
напоминает о них по утрам
поезд дальше не идет
просьба освободить вагоны

* * *

новость о подземной реке
разорвавшей красную ветку
питерского метро
держалась долго
еще бы — знать
что где-то под тобой
плещется дублер невы
выходит из берегов
это означает лишь то
что город растет и вниз
проникая в скрытую жизнь
по крайней мере становится ясно
почему вечером в пустом вагоне
кто-то невидимый за тобой наблюдает
они существуют по двум берегам
строят уменьшенные перевернутые копии
исаакия зимнего стокмана
вместо ильичей и пушкиных —
памятник антонию погорельскому

* * *

заполняя в себе мои златые
дни славянской письменности и культуры
внешней монголией внутренней эстонией
бежать лисой в татарской пустыне
до самых семантических минных полей
всюду простирается
почвенный горизонт событий

когда падет
последний лист оцинкованный
всё что нужно запишем
в книгу царств жалоб и предложений

В парке Победы

гремит попсой каток плюс-минус фитнес
для этих очень среднего звена
и их подруг как функция предельных
стоит студент возможно ждет кого
издалека на это всё глядит
в платке немолода за хлебом вышла
и всех слегка припудривает белым

а дальше через ясени и клены
там те которых не назвать
на атомы разъятыми лежат
где был блокадный крематорий
и в свете разве что луны
промежду темноты стволов
представишь — на слежавшемся снегу
глаза мерцают сотнями созвездий

* * *

не нам не нам и не имени твоему
все остальные сбудутся перейдут словами
трансцендентальный путь из мемфиса в кострому
поглядеть на скелеты в шкафу побывавшие нами

будете проходить мимо правильно проходите
станьте за елкой одним из игрушечных тех волков
от реликтовых холодов не спасают водка сердечки свитер
вышел в космос выпил замерз и бывал таков

тепло покидает тело большей частью из головы
солнечное сплетение через себя пропускает другое
вот намело до москвы до уфы до увы
белое солнце на белом несется живое

* * *

это уже
настолько банально
что не то что в стихи взять
но и произносить лишний раз
не стоит

вот и не будем

* * *

Н. Н.

рыбы выбрасываются из иордани
заполняют улицы
залезают в троллейбусы
проповедуют аутофагию народность
возносят бывшую речь
занимают твое рабочее место
после чего
беловатыми глазами
глядят из зеркала

выход есть
ибо не сказано но учтем
что спасутся
обнаружившие себя поутру в вагоне св
медленно едущие в тупик
мимо складов тэц заброшенного завода
сквозь запах гари и шпал
кого провожают борщевик и чернобыльник
под западный ветер
волнами вроде аплодисментов
уже не нуждающихся
в зрителях

* * *

разворачивание текста
планшетом/смартфоном/лэптопом
предлагает замену
традиционного кодекса
еще более архаичным свитком
знаменуя собой
приложение новой античности
со своими условиями соглашения
принять отказаться

* * *

осенним вечером

ветрено темный двор
выбегают меня встречать
листья

Несказка

запишем начало
случайно найденным красным карандашом
фабрики сакко и ванцетти
ордена чего-то там
твердый семь коп.
были такие копейки и фабрика и ванцетти с сакко
жили они недолго и несчастливо
и умерли в один день
конец

вы чего-то другого ждали?

* * *

смотреть на впадающую в закат
речную со скоростью велосипеда
за отсутствием любых авто кто быстрее
уносящую еще один
вечер в одиноком октябре
к ста девяноста девяти похожим
отнимая от бесчисленного числа будущих
под (не)уместные запаздывающие крики гусей
над пущенной (кем?) волной ветра в ивах
с обещанием холодной зимы
с ощущением того что всё меньше
имя твое обитатель холмов
что-то значит там
а тем более здесь где возможно
только гортанной и лающей речью
отменить отрицание
того факта
что ты
есть

* * *

разъезжались с ивента
быстро писали клочки адресов
была только гелевая
дождь все дни
вещество смех
двойная радуга
над трассой
грибы мокрые скалы
много чего потом

умножение вещей
самих на себя
вот почему
ты никогда этого не прочтешь

* * *

Пропуская навстречу легко идущих,
синеватый холод высказать как?
Согревай собой глянцевого полдень.
Уминать снега — назад на тропу.

Что на той стороне шуруется хвойно?
Прослезится око, недвижна Ока.
Черные свечи и зубы дракона,
это пока всё на выбор тебе.

Это пока часть реки и часть речи.
Не убрать окружающее — белый слон,
окружаемый против света взглядом.
Туда и отсюда, всё наискосок.

Не за тем запнуться о цвет поля,
не сделав ход, не смоги перейти.
Лед посередине весенний синий.
Руку дай, назад не смотри, идем.

* * *

вот мост железный над рекой
опять по-бунински промчался
мстинский мост
ложно тавтологичен

под стеклом соколиным
освещен кулич областной новгородский
разноцветной присыпкой дома
над бисквитной землей еще глазурь

под солнцем в окне
было и детство на пасху

под стекла неба

Анастасия Трифонова

Ай-Петри

* * *

а ты когда-нибудь вставал на гвоздь,
чтоб он вошел в стопу до шляпки сквозь кроссовку?
потом травмпункт и противостолбнячный укол.
сценарий прост. и всё-таки не сотка,
но помнится. как хруст, как ветка бузины,
которая всю ночь в окне стояла,
пока температура не давала спать,
пока сидела мать у изголовья
и говорила, что до свадьбы заживет.

какую стену этот гвоздь держал,
какую он лелеял древесину
до той поры, как пробуравил ногу,
с кроссовкой породнив ее на вечер,
а в памяти — навеки породнив?
теперь окно взлетело до восьмого,
в нем нет ни тени, ни сомнений детских.
один балкон в соседнем доме
гвоздит мой взгляд в иную ночь нездешним светом —

дневная лампа холит чахлую рассаду
и смотрит на меня из-под подошвы
синеющего городского неба,
как будто повторяя: «боль, боли
у кошки, у собачки, у голубки,
у курочки, у ежика, у мышки,
у змейки, у лисички, у лошадки,
у паучка, у ящерицы, у зайки,
у Настеньки пройди, пройди, пройди».

* * *

Кукуй не кукуй,
времени всё равно
не останется ни на грош,
что ляжет под языком,
притворяясь
утоляющим жажду камнем,
соленым агатом,
лихорадкой острого Карадага
в широколиственной полосе.

Памятные манатки
собираются в кучу,
из прошлого возвращается зрение,
не прорываясь в грядущее,
словно кузнечик,
бьющийся о стекло веранды,
но снаружи,
из лая десятка
соседских цепных дружков.

Разноцветные лодки-долбленки
всчасно отчаливают от крон.
Мысли, как неудобные гости,
набрасывают ветровки
и спешно выходят вон,
порывом тревожа яблоню
над крыльцом,
в землю стучась
переспелыми кулаками.

Осенний пейзаж
начинается с птичьего неба.
В частном секторе
дорога плывет от дождей
до первых заморозков.
Под колесами еловые ветки
тонут и вовсе становятся не видны
постороннему глазу,
слезящемуся от ветра.



Когда в несмышленном детстве
ее поймали на лестнице хулиганы
между четвертым и пятым
и крикнули: «Прыгай в окно, живо!» —
она полетела в мыслях на фонари,
стоявшие у тротуара, но сдержала себя
и смотрела будто со стороны
слишком серьезным взглядом,
чтобы это было игрой,
как происходило всё,
что происходило потом.

Когда в очень средней школе
на большой перемене между четвертым и пятым
ее затащил туда, куда принято выходить,
одноклассник и сказал: «Давай показывай!» —
она мысленно преодолела школьные этажи
и поднялась над районом, который ее район:
оттуда было гораздо удобнее видеть,
как происходит то, что непременно произойдет.

Будучи на третьем курсе заочки,
после работы в гипермаркете и нескольких пар
она шла от остановки к дому родителей,
где проживала с сыном дошкольного возраста.
Возле подъезда кто-то схватил ее за капюшон,
отбросил в кусты, сам навалился сверху,
руку пустил под пальто, шипя: «Нахрен снимай!»
Она представила себя на берегу речушки,
где деревенские бабы в начале прошлого века стирали,
и наблюдала, как белая-белая простыня
бьется о камни и, рассыпая брызги, взлетает вновь,
потому что ей больше нечего,
словно яблоку, которому негде.

* * *

Аскеза, мой пожизненный атлант,
держи ровней предгрозовое небо
над доходящей головешкой белой
в гнезде кострища, полного тепла

и пепла. Обездвижен, тем живее
горящий всем прогнозам вопреки,
еще трещу. На сколько хватит времени,
не угадать, поэтому терпи,

моя Эвтерпа.

Ай-Петри

— Сфотографируй меня на краю!
Над Мисхором, где движется только небо,
мы стояли, инопланетяне в северной синеве
кожи, не успевшей обжечься о южные угли,

и смотрели вниз, прикидывая траекторию,
время полета до пестрых кишасших крыш
в вагончике фуникулера при отсутствии прочих опор,
кроме пола и поручня, кажется, тоже лишних.

Мне хотелось купить — как это правильно называть? —
тюбетейку, феску с кисточкой наперевес,
потому как присутствие вышнее ощущалось
гораздо отчетливее, чем предзакатный ветер, —

слишком явственно: схватишь щелбан, проспориw.
Мы посмотрели вверх. У лица вились комары,
а за ними — даль, из которой не вырвать ни взгляд, ни слово,
сколько слов в ожидании ни говори.

Отрывок

...К полуночи в мой двор лиса приходит
по старой памяти: на месте леса
стоят многоэтажки больше года,
но в поисках съестного рыщет зверь,
в помойке роется, вытягивая мусор,
напитываясь духом городским.

Привыкнуть можно точно ко всему:
к разлукам, переездам, холодам.
Но как могучий беспросветный голод
лисицу гонит через автостраду,
так человека гонит из себя
звучащая незыблемым каноном

оторванность, так гонит из себя
нелепого пустого человека
сквозь череду огней на автостраде
в могучий беспросветный лес людской,
к разлукам новым, к новым холодам,
к деталям одиночества бывшего.

* * *

Это детство такое детство.
Мы поймали весной лягушку
и в песке раскопали яму
от плеча до кончиков пальцев,
где отвесные стенки пахли
перегноем прошедших весен.

Ну-ка, выберись, хладнокровка!
И недетский азарт бездушный
заплясал, поджигая травы,
что в песок уходили корнем

и мочалились, если дернуть
в самый воздух сухие стебли.

Эта яма исторгла крики,
эта яма исторгла слезы.
Если боль мне на шею лезет,
поджигает сухие нервы
от плеча до кончиков пальцев,
я хочу, чтобы чьи-то дети
как лягушку меня поймали.

* * *

Рождественские тополя,
рождественские птицы,
как будто бьется свет
сквозь черноту коры,
сквозь черноту пера.
На следующий день
всё в будни канет.

Ищешь в гугле свое имя,
а поиск выдает: рассеянный склероз.
И смысл светел и прозрачен,
как благодать
рождественских даров.

Люблю грозу в начале жизни,
парализованную радость,
парализованное счастье,
когда ты сам себе нельзя.
От Рождества до Рождества
столбы как будто тополиные
к рукам протягивают иглы
и век живи,
свой век живи
смирненно повторяют.

Приключенческий день

1

За рыночными киосками обдирали ничью лещину,
снаружи зеленую, в недрах — полную молока.
Воняло рыбой, гниющими овощами,
но мы, собиратели, горели первобытным азартом,
как струя освежителя «Альпийское чудо»,
направленная на огонек зажигалки.

2

Гоняли по детскому саду с рыночным псом.
Он умный: хватается палку
и тащит ныкать сквозь дырку в заборе,
переворачивая стоймя.
Мы звали его то Джеком, то Джимом,
он откликался на голый голос,
лапу давал, хоть мы не просили,
и тянул морду к рукам,
а мы прятали их за голову.

3

Скрывались из поля зрения матерей,
дежуривших у окна,
пока на плите томятся несчимные щи девяностых.
Домой, обедать!
А мы, воробьи,
через забор телефонной станции скок —
и в туалетные заросли:
по каше из трансформаторных Ш
к сказочной свободе
от материнского взгляда.

4

Сидели в песочном котловане за детским садом
и мечтали, что это воронка от взрыва или хотя бы метеорита.
Врывались всеми руками в этот песок и доставали до глины.
Лепили птиц, но они крошились,
как только подсыхали на солнце, и снова уходили в землю.

5

Мой друг сказал: поехали к Вадиму.
Кто не знает, это его двоюродный брат.
Я так далеко от дома одна не уходила никогда,
мы даже потряслись на трамвае бесплатно.
У Вадима играли на «Дэнди» в «Робокопа»,
точнее, играл его папа, а мы смотрели
и ели блины, посыпанные сахаром.
В трамвае на обратном пути считали прыгающие фонари,
снова ели блины, сложенные втрое, —
мама Вадима дала на дорогу.
И песок скрипел на зубах.

Нас искали до одиннадцати вечера
по всему району, где дважды убивали бизнесменов,
а простых барыг с димедрольным пойлом — без счету.
Тепло и темно, мама ждала дома, а папа не мог вернуться.
Мы были в песочном котловане,
а вы и не додумались туда заглянуть.
Мы же там и правда *были*.

Прошу считать этот текст
официальным обращением
с признательными показаниями
об одном дне,
об одном вранье,
из которого в детстве не раскопаться:
велика вероятность получить ремня насущного от отца

и огорчить мать, которая
не разрешала ничему со мной приключаться
и верила, что сможет от всего меня уберечь,
но уже тогда оказывалась бессильна.

* * *

...Мы стояли на этой же остановке
в тени мозаичных деревьев на ее стенах,
под сенью неухоженной растительности по обочинам,
и солнце садилось за огороды,
темно-оранжевое, как помидор.

Ноги съедены комарьем,
но рюкзак полон коричневки на варенье.
Радость добычи, гордость собой —
на дерево влезь-ка, под ноги парашютистам, туда,
где яблоки с самым красным бочком.

А попробуй оставь их,
снятые, не битые,
на скамейке под окнами дачи.
И тащишь — сколько? Двенадцать штук
вмещалось за плечи.

На полпути бабушка забирала ношу: до автобуса далеко.
Вдвоем не ближе,
в одиночку еще дальше.

Вон он, желтый икарус вдали,
поворачивает с Богородицкого.
Успеем?
И казалось: ни сумок в руках,
ни дня на земле.
Бабушка умеет бегать, как я, —
вот же чудо,
более непостижимое,
чем все урожаи.

Вечернее ожидание
следующего
возможно однажды,
а потом
едва представляемо.
От него и остался асфальтовый островок на краю,
где столбом стоишь,
не зная,
как здесь оказался, мистер Робинзон.
Потому пропускаешь одну маршрутку за другой,
не задумываясь, будет ли еще.

Сон на даче

Вот голова дурная.
По молодому льду пруда
босая, чтобы наверняка дойти,
кажется, на спор —
на самую середину —
вслед осенним летучим мячом,
ступаю;

словно в болоте,
где всё поневоле отводит
от ощущения тверди —
комары и щебет,
шум ветвей,
гудение дальней трассы;
треск неожиданно сломавшейся ветки страшнее,
чем перелом руки.
Но это наоборот:

здесь не болотные огоньки —
блики вечернего солнца;
короста льда
на израненной холодом глади
шершавит стопы.

Отковырнешь такую болячку нечаянно,
не отделаешься
алой кровью.

Остается надежда на хрупкий баланс
и торжество равновесия —
не проломиться в безъязыкую топь,
в окаянную воду,
от которой не отплюешься,
не откачают дружки —
что они гикают?
что за русальи пляски?

Каждый удачный шаг
на белесом пути —
больше наука,
чем самый научный труд,
большая необратимость,
чем этот прожитый день.
Откуда-то с неба, наверное,
мама шепчет:
уснула,
и, сжимая свой полосатый мячик,
я понимаю:

берега нет.

Дмитрий Шабанов

Пить из окна

* * *

принудительная вахта
сочень Охта сбить Лахта
переулками Майнкрафта
не упрятаться от тьмы
это трест который треснул
всем ничто не интересно
мне ничто не интересно
ни расплаты ни суммы

камень ждет покуда долот
небо жмет поскольку полог
боже вежливый онколог
шепчет ты не опоздал
наново фарцует номер
счастье греческий трансформер
будто жил пока не помер
да и то не навсегда

и опять пойдет без спайки
на сносях осталась зайка
год такой голодный город
ты врываешься на свет
и опять в поту родильном
среди стройки и бродилки
лет так через двадцать восемь
сочиняешь этот бред

* * *

Как-то я общался с немым стариком.
Он писал в моем блокноте слова размашистым почерком,
а я в ответ ему;
и, сам того не разумея,
отписывал на тех же листах,
когда запросто мог и вымолвить...

Один раз я полмесяца кряду
бок о бок провел с балагуром-заикой
и, даже изредка реплики ставя
в нескончаемый этот поток жизненно важных событий,
самолично уже спотыкался
на второй день от начала...

Однажды я говорил с мертвыми.
И в темноте, и свечах,
и бликах воды в полстакане
запутался, засысел,
уже не знал между нами расхожего...

Каждый день я пытаюсь поговорить сам с собой...
И никак не могу пристроиться.

* * *

Словно бредный юнош,
Проникший в синедрион,
Не производишь звон и не знаешь, где он;
Пубертатный духом, но телом как аксакал...
Пеноплекс — тоска, латекс вообще тоска.
Значит, всё это, всё это
Бабы и города
Из поддельного инея,
Из не пойми куда

Прятать звон маяковский свой,
Баратынский сон.
Парадокс твой замечает синедрион.
Кали-плитка не так лежит на твоей стене,
Не на ту межу поволок тебя Холстомер,
Да еще говорит с людьми и лошадьми —
Это против культуры речи, господь возьми.
Ты, изгой из клана изгойцев, спустился с гор,
Не борись с простотою речи, ведь ты не гожд
Управлять сентенцией, семафорить тропами,
Балансировать идиомами, черт возьми.
Что же, на близком пределе твоя глава.
От бретелек отделяется голова,
И легко садится к следующим на плечо,
И опять срастается...
Вьюга. Вечор. Вечор.

* * *

Миша едет на травобусе,
Саша едет на бухарусе,
Только я один, как немощный,
На пешкарусе бреду;
Где найти на грешном глобусе
Артефакт освобождающий,
Чтоб на самом верхнем ярусе
Дали место мне в аду?

Чтобы только травы росные,
Чтобы только водка пряная,
Чтобы только девы статные
Без сомненья и стыда;
И ни в коем разе, господи,
Ни бояться не заставили,
Ни работать не заставили,
Ни покуда, никогда.

С. С.

Лишь тебя не привечает кропотливая весна.
Кислым яблоком шершавым горкнет жизнь на языке.
На малиновых закорках носит адовый спецназ
Несусветную виновность, как не носит ни за кем.

Пусть блуждающая темень тянет лапы за тобой,
Пусть любой хрустальный голос искажает овердрайв...
Я охранником двужильным, я бойскаут-костровой,
Прикроватная сиделка... Только ты не умирай.

Если ты исчезнешь — даром это время, этот след,
Свет безумия и воздух — как ошпаренный настил,
Мир останется неведом, осветитель — без реле,
И придется им навстречу одного себя нести...

Потерявший дар речи

это плохо пристроенный орган живот натягает клокочет
это угол наклона почти неживой это сгорбленный почерк
это гибельной мысли беда-товарняк
то чего я лишился
то чего я лишен как любви простыня как мертвец визажиста
как прощенный но изгнанный вместе с ворьем
не распят не целован
между вьюгой и брызгами бродит мое тридевятое слово
неродящая маковка трупный сорняк проржавевшая гиря
и на внутренней ладоге ищет меня
и во внешней сибери
и теперь я могу напороться на гвоздь зацепиться за камень
потому что какой я теперь к черту гость продавец origami
потому что не велено жить без нужды и немотствовать в бездну
проверяя на вкус омертвевший язык как протез бесполезный

* * *

Так в кого ты придешь в итоге
Через большой зачин,
Великосветский выход,
Меченую икру,
Сквозь карнавал друзей,
Сквозь толчею мужчин,
Бурных при закипании,
Схлынувших на пару.
Станешь маман примерной?
Женщиной с коготком?
Призрачным консументом
Материальных благ?
То есть, весьма наверно,
Тем, с кем я не знаком.
Значит, и вправду смертен
Всяк, кто пред богом наг.
Есть что-то в этом скоромном
Вареже бытия
В корне несправедливое,
Будто мы зря ловили
В память пространство-время, где
Только ты и я...
У волка теперь боли, у медведя теперь боли,
у зайца теперь боли...

Эскиз №11

о любви

я должен пить из всякого окна
которое мне показалось Днепр
какой не долетит до птицы свят
какая у окна блестит и зябнет
волхвует и безмолвствует затем
чтобы я пил из всякого окна
где есть один крошечный человек
наследием опустошенный

Эскиз № 14

покаянный

С. Круглову

курил «мучительную смерть»
пил штоф с канцерогенным ядом
ходил на площадь посмотреть
как там с плакатами они
дразнил гоппе издавека
смотрел «неведомое — рядом»
но ни черта не осознал
и не запомнил ни курлы
боялся подступов к воде
особенно таких осклизлых
громил врагов на брудершафт
и все прославлял друзей
и препарировал звезду
которая ведет по жизни
но словно помогали все
будь я царевич Елисей
и даже та же гопота
и даже те «да кто такой ты»
и вот намерен я пришел
к неразделимому кресту
и даже день теперь такой
он даром что сабат — субботний
он и всегда теперь субботний
привяжется и прорастет
и я склоняюсь пред врагом
и я друзьям отдам последний
мерзавчик хлеб и закусон
и буду с миром не знаком
и буду словно инженер
неловко мнущийся в передней
и только подступов к воде
я до сих пор еще боюсь

Прощальное

Уезжаю в среду. Повсюду хлябь.
И в кармане ни совести, ни рубля,
Только слой подростковой грязи.
И не спрашивай, солнце, куда я прусь:
Околоток снул, а сердечный груз
В наш багажный вагон не влазит.

А весна звенит на мотив Е. Доги,
Заслоняя родных и дорогих
Очумелым зеленым крупом.
Пусть, как сон декабриста, сей край красив,
Оставаться на здешней земной оси
Всё равно что ходить по трупам.

В этом месте я, как шальной улан,
Пил, высиживал курицу из орла,
Любовался опасной бритвой,
Самоходных дней изучал талмуд,
И тебя, моя радость, приплел к тому;
Но теперь — обрыдло.

Этот поезд, как водится, весь в огне.
Вспоминай меня максимум сорок дней —
Жизнь моя как гимнаст на брусках.
Не сынок мамашин и не барчук,
Если я доеду, куда хочу,
Можно будет сказать: «Вернулся».

А земля не круглая, хоть ты шей.
Что найду в далеком: клешню, клише —
Бог решит и возьмет свой шабер.
На прощанье прощупай мой ломкий пульс
И не спрашивай, солнце, куда я прусь.
Вечер в среду, повсюду хляби...

Пасха

Всё просто, всё так незаезженно просто:
Короста блуждает по телу, как остров,
Как ведьмина родинка — средство и сходство,
Религия зла во плоти;
Не дело чуждаться телесного свойства,
Служение — шорох, одно беспокойство,
И так ли уж важно, какого ты войска,
Когда всё равно ты один...

Всё лихо, всё так неминуемо дико:
Сознание бродит нелепым аддиктом
По полю вины, как по съемной квартирке,
Чужих не касаясь вещей;
Одно богоборчество вертится в думе,
Но мир не срастется в наиве, в зауми,
И вряд ли он есть вообще...

Рейсфедер нацелив на ту и на эту
Корявые мысли, ты ставишь рейсфедер
На плоскость истории дня
И водишь, две точки соединяя,
От ада до рая, от ада до рая,
Одной стороны не приняв.

Грехи твои плоски и выбор двумерен,
Но точка — валун у голгофской пещеры,
На ней паутинка креста,
Ни силой души, ни уменьем научным
Ее не подвинуть никак,
Потому что
За точкой
Одна пустота.

Надпись под книгой

Мне всегда казалось, что *там* должна быть надпись...

Любовь протяжна, словно звуки в имени,
Которое кричат. Не бойся, выменяй
На хрипоту у воздуха волну.

Так сытен бред, так к вечеру не можется,
Что вместо рожи — железнодорожица
И вместо сердца — пепельный манул.

За облаками века светло-серными,
Куда всё детство вывезли цистернами,
Я покачу на рохле свой паллет
С воспоминаньем времени ледового:
В столовой ложке мальчик плавит олово
И отливает лебедя в земле.
Да не дойти — я тихой сапой выстрадан,
Мне каждый день — очередная призрада,
Но никакие пропасти во сне
Не испугают шириною пила:
Мне наплевать, кого она любила,
Приятно находиться рядом с ней.

Гречишный мальчик, бронзовый и паперный,
Давно поживший с мамино и папино,
Я потревожил кракена в пруду:
За каждым рвом языкового бруствера
Его шлею у самой шеи чувствую
На двадцать недоеденном году.

О, наши черти, мы ли не поможем им!
Растает тело, как брикет с мороже... но
Пока он крепок — внутренний прокал,
Скрежещет мысль истертым коленвалом:
Мне всё равно, кому она давала,
Я в очередь не жажду номерка.

Зубная муза, острая зазубрина,
Мелькает в каждом лике, мной излюбленном.
В передовые полосы страны
Влетают клинья оловянных праздников,
Пустое место превращая в классику...

Укрой меня слогами белизны,
Витая надпись, созданная накипью
В молении любви, дремучем, аки пню;
И ты, читатель, хрупкий, как акрил,
Весомым томом сотворенья памяти,
Покрытым толстым слоем желчной комеди,
Накрой меня — и больше не смотри.

Яна Юдина

Переезд

* * *

теперь вы не смеее говорить — неплохо
я вспомнила
что делала отличные луки из сирени
с добротной тугой бечевкой
стрелы были самыми легкими

легкими полными
клич был слышен за чертой города
носила гордо
в карманах чертополох

не смеее говорить — это неплохо
грохот всполохи
в карманах петлице чертополох
верила знала язык птиц

лучшие истории создавала сидя на дереве
не боялась змей-водорослей в жестяном баке
на его ржавых боках мои нарисованные картины
изнутри порастали тиной

уйдите от меня нет вы не черти
я могла убить взглядом любое
воображаемое существо и сушила яблоки
старость любила меня
осторожно сажала на колени
я делала отличные луки из сирени

* * *

выйти гулять на ощупь
выйти читать на площадь
выбрать для Лизки шторы
только не дома чтобы

или гостить у Насти
в голом не ждущем нас ли
блеклом подобье лимба
доме не дома лишь бы

или с Андреем к Неле
глупо смотреть на небе
клюква черника полость
столько еще осталось

только не так не новым
правильным образцовым
слепком житья вещдоком
светлой изнанкой окон

* * *

Бог изнутри шаровой молнии
Смотрит на маленького ротвейлера,
Хозяйка выпятилась в безмолвии:
Раньше не верила.

Бог разговаривает своими искрами,
Зрачки ротвейлера ширятся, шерсть дыбится,
Хозяйка думает: сбежать бы отсюда по-быстрому
Или договориться.

* * *

Собирая к травинке травинку,
Разные стрелы,
Вспоминая хлеб и рубаху
Из самого солнца.

Принимая на веру простое
Волнение кувшинок.
Замечая судьбу, потому что сказали,
Что же.

Год, когда невозможно больше смотреть на ряску,
Пострашней лягушачьей кожи,
Соснового коробчонка.

Не тогда ли возьмешь в свои руки
Зеленый бубен
И поедешь, и грохотом переполошен
Город.

Переезд

Дом большой, муравийный,
Палисадник гравийный,
Словно мы отыскали
Проход аварийный.

Отодвинута мебель
Изнанкою на люди,
Пылью плотной и белой,
Подобие наледи.

Сбита ручка графина,
Отложены сверла,
Слепок быта графитный
Обои отвергли.

Вынув из дому мякоть,
Уносим тюками
И уходим без памяти,
Маяте потакая.

Выйду, выдохну, выдохну,
Будто прошлое выльется.
Провожает у выхода
Равнодушно жилища.

Ни соседства, ни имени
Не признавшая равной,
Тянет слива-йогиня
Сустав деревянный.

* * *

Я хочу тебе сказать,
Я должна бы,
Это облако точь-в-точь —
Дирижабль.

Выше рельсов, через луг
Зверобоя
Поршень вымесил разлук
Паровое.

А по рельсам, выбирай, север, юг ли,
Паровоз гоняет пар, гибнет уголь.

Нет зимы, а есть гудок, и панамка,
Улетая в параллели стимпанка,

Зачерпнула зверобоя — и навзничь,
И дышать теперь, и вот же назначено...

А зима. Тогда, балкон закрывая,
Не дышу, не задержу, выдыхаю.

* * *

Трехногая расшатана
Потише не тряси
На блюдце с пастушатами
Селедка иваси

Фарфоровые новые
Столетнего стекла
И сеяли зерно они
Зачем ты умерла

Ты бабушка была
С тобою были с папою
Конфеты косолапые
Селедка из ведра

Я наряжалась в юбки
Широкие и грузные
И бабушкины бусы
Вминались в позвонки

А табуретка падала
Покуда не повисла
На досточке искорченной
По глупости испорченной
Отломленной ногой
Без смысла

* * *

Тревожно, но уже не странно,
навес над чайником сопрел,
фотообои с океаном —
твой пробник счастья на апрель.

Смотри в окно, читай, жди лета,
пока недели напролет

великая любовь с пакетом
из продуктового идет.

Она уходит по траншее,
проваливаясь в грязь пятой.
Останься! Той же, но добрее,
останься той же, спой же, стой.

Оставь от ветки клена древко,
стань флейтой с тишиной внутри.

Прохожий окликает девку:
смотри отцу не говори,
тому Отцу не говори.

* * *

Возвращайся в постель:
состояние «до»,
черно-грифельный ужас бумаги,
вес дождевки в глазу у дворняги
(и она уже катится долу).

Зарастай, возвращайся,
закройся, сим-сим,
отпечаток чернильного тракта,
карандашная катаракта,
безупречно, непроизносимо.

Насовсем, насовсем
убирая слова,
не желая вторично родиться
слезной пленкой поверх роговицы,
птичьим росчерком буквы А.

* * *

Было вечное рассказикажизнь
В связке с этой зимой, пока
Чей-то голос звучал из вытяжки,
Из-под крана, из сквозняка.

Я смеялась, мол, я живая,
И, пока застилала кровать,
Мнилось лето, где я вышиваю.
Странно, я не люблю вышивать.

Неохотно земля согревается
От асфальтового катка,
Остаются отметины в пяльцах
От кошачьего коготка.

Только строчки не остается,
Ни подшить, ни сшить крючком.
Ловит кот прядку зимнего солнца,
Ну а я — молчком.

И грохочет под краном, мучая,
Обрывается речь, ломка́.
Мол, негромкая и незвучная,
Выносимая в целом — как?

* * *

Страх находится в животе,
Кусает за позвоночник,
Сжимает голени.

Горе отяжеляет верхнюю часть спины,
Ночью тянет ключицы вверх,
Если лежать на животе.

Паника наклоняет вперед,
Делает тебя юрким,
Если справишься с немотой конечностей.

Влюбленность обволакивает солнечное сплетение,
Как написано всюду
И положено млекопитающим.

Нежность может быть в любой части тела
Или вне, допустим,
В домашних тапочках, в холке кошачьей,
Когда предметы сопричастны.

Любовь нигде не находится,
Всегда отстоит,
Иногда отсутствует,

Когда из живота страх
Поднимается к позвоночнику,
Принимается за голени.

* * *

я не буду тобой не была я
я собою невинной дрянной
ужаснусь как твоя нутряная
становилась моей нутряной

не припомнишь своих а кого ли
тянет тиной и вялой травой
извиваясь становится квелым
первобытное существо

мнутся мятые горбятся люти-
ки в медленной строчке дрожат
издеваясь что близкие люди
ужаснусь и такой дорожат

* * *

Я помню то дерево,
горбатое дерево,
в суставе согбенное,
лапы в грязи,
летучей крылаткой сюда занесенное,
с древесной душой, различной вблизи.

Оно понимало: иное, зазорное,
с неровной корой и грибными зазорами,
ни в мать, ни в отца, позвоночник кривит.
Самою ли предано легкое детство, и
ужас случайного несоответствия
множился, как трутовик.

А люди: «Какое красивое дерево!
Мы видим за ветками дерева зарево!
Смотрите, какое небесное варево
сквозь волосы дерева льется на холм!»
Оно им не верило:
«Я вас позабавило,
правдивого, ясного в мир не добавило,
я шутка, ошибка, издевка над правилом,
но я вам смешна, и спасибо на том».

А дети играли в безлиственной полости,
и сквозь трутовик было видно не полностью,
но корни о давнем, испорченном помнили,
не помня о главном (слепое пятно):
плетеное небо глядело в орнаменте!

Но в памяти
рода,
непринятой памяти,
хранимо: оно не таким быть должно.

* * *

рыжая туча пенится молоком
это двадцатый передает привет
ветлы по-русски клонятся глубоко
вечера больше нет

время течет по веткам вниз испаряясь ввысь
краски смешались в низкий стелющийся туман
кто бы ты ни был выйди и прикоснись
(разноголосье) к нам

соприкоснувшись с кожей времени молоко
быстро свернется пенкой вытри его платком
годы свернутся кошкой теплым живым клубком
мальчик вернется в дом

* * *

меня смущает этот зной он завозной
как заводской стущался дым он завозной
завхоз заведует казной он завозной
он нефилим и невелик возобновим

меня смущает узловый развал креста
где пассажирский не задержат на пути
захват не занято запястье посидим
среди смородины корзин и бардака
среди надежды на успех товарняка
и подкидного в зеркалах москва — домой

река боится шлюза ли
занозы заново войдут в ее бока

ОБ АВТОРАХ

Антон Азаренков родился в 1992 году в городе Рославле (Смоленская область). Участник смоленского литературного объединения «Персона». Публиковался в журналах «Знамя», «Арион», «Кольцо А», альманахах «Под часами» и «Персона». Автор поэтической книги «***». Шорт-листер премии «Лицей» (2018). Живет в Смоленске.

Нина Александрова — поэт, литературный критик, куратор литературных фестивалей. Родилась в 1989 году в Челябинске, жила в Екатеринбурге. Училась на филаке Уральского государственного университета, сейчас — в Литературном институте (семинар Е. Сидорова). Публиковалась в журналах «Знамя», «Урал», «Нева», Homo Legens, «Новая Юность», «Слово/Word», «Плавучий мост», интернет-изданиях «Литература», «Полутона», Sigma и других. Лауреат премии имени П. П. Бажова, Волошинского конкурса, конкурса имени Бродского и других. Автор трех книг стихов. Живет в Москве.

Софья Александрова-Оршатник учится в Литературном институте. Шорт-листер международного тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» (2016). Публиковалась в журнале «Дружба народов», альманахе «Полдень. XXI век».

Евгения Джен Баранова родилась в 1987 году в Херсоне, большую часть жизни провела в Ялте. Окончила Севастопольский национальный технический университет. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Юность», Prosodia, «Крещатик», Homo Legens, «Кольцо А», «Зинзивер», «Москва», «Литература», «Плавучий мост» и других. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2016), победитель поэтического интернет-конкурса «Эмигрантская лира» (2017/2018), лауреат премии имени В. П. Астафьева (2018), премии журнала «Дружба народов» (2019). Автор книги стихов «Рыбное место» (2017). Участник арт-группы «Белка в кедах». Живет в Москве.

Наталья Белоедова родилась в 1983 году. Окончила Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами по специальности «русская филология». Публиковалась в журнале «Звезда Востока», ташкентских альманахах «Междуречье», «Мангалочий дворик», «Под крылом Пегаса». Лонглистер Волошинского конкурса (2018). Живет в Ташкенте.

Андрей Болдырев родился в 1984 году в Курске. Лауреат литературной премии имени Риммы Казаковой «Начало». Публиковался в журналах «Арион», «Нева», «Сибирские огни», «Эмигрантская лира», «Кольцо А» и других. Автор книги «Моря нет» (2016). Член Союза писателей Москвы.

Михаил Бордуновский родился в 1998 году в Челябинске. Работал в театре. Сейчас учится в Литературном институте (семинар Е. Сидорова). Публиковался в журнале «Кольцо А», литературных интернет-изданиях. Участник совещания молодых авторов Союза писателей Москвы (2018).

Антон Васецкий родился в 1983 году в Свердловске. Окончил журфак Уральского государственного университета. Работал на телевидении, в электронных и печатных СМИ, сейчас — в сфере новых медиа. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Арион», «Октябрь», Номо Legens и других. Финалист и лауреат фестивалей «Литератерра» (2007), Волошинского конкурса (2016), конкурса имени Константина Васильева (2017). Участник Совещания молодых авторов Союза писателей Москвы (2014), Форума молодых писателей России, СНГ и зарубежья (2016). Автор книг стихов «Стежки» (2006), «Монтаж всё исправит» (2018). Живет в Москве.

Николай Васильев родился в 1987 году в Череповце, жил в Санкт-Петербурге, Москве. Окончил Литературный институт. Работал журналистом, курьером, продавцом, участвовал в археологических экспедициях. Публиковался в журналах «Нева», «Иные берега», «Процесс», «Литературная учеба», Номо Legens, интернет-изданиях «Прочтение», «Литература», «45-я параллель», «Полу-тона», «Сетевая словесность». Стипендиат Форума молодых писателей в Липках (2014). Автор книги стихов «Выматывание бессмертной души» (2017).

Любовь Глотова родилась в 1985 году. По образованию журналист и лингвист, преподает английский язык, занимается литературой и переводами, пишет музыку. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Арион», «Октябрь» и других, сборниках и альманахах «Новые имена в литературе», «Детская литература: новые имена», «Новые писатели», «Литеры», «Черные дыры букв» и других; переводились на французский язык. Автор книги стихов «Кракозяков» (2008). Живет в Самаре.

Олег Демидов родился в 1989 году в Москве. Окончил филфак Московского государственного педагогического института. Преподает словесность в лицее НИУ ВШЭ. Литературовед, составитель нескольких книг и собраний сочинений

Анатолия Мариенгофа и Ивана Грузинова, автор биографии Мариенгофа «Последний денди страны Советов» (2019). Стихи печатались в журналах *Homo Legens*, «Сибирские огни», «Волга», «Кольцо А», «Октябрь», «Новый мир», интернет-изданиях «Свободная пресса», «Перемены», «Сетевая словесность», *Textura*. Победитель V фестиваля университетской поэзии (2012). Автор поэтических сборников «Белендрасы» (2013) и «Акафисты» (2018).

Алексей Комаревцев родился в 1988 году в Бердянске. Окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры по специальности «история мировой культуры». Участник фестивалей «Филатов Фест» и «В контексте классики», совещания молодых авторов Союза писателей Москвы. Живет в Санкт-Петербурге.

Константин Комаров — поэт, литературный критик, литературовед. Окончил филфак Уральского федерального университета, кандидат филологических наук. Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Нева», «Новая Юность», «Волга», «Сибирские огни», «Бельские просторы», интернет-издании «Мегалит», антологии «Современная уральская поэзия» и других. Лауреат премий журнала «Урал» (2010), «Нева» (2016), «Вопросы литературы» (2017 — за литературную критику). Финалист премий «Дебют» (2013, 2014), «Лицей» (2018). Автор нескольких книг стихов. Живет в Екатеринбурге.

Полина Корицкая родилась в 1986 году в Томске. Окончила Литературный институт. Публиковалась в журналах и альманахах «Сибирские Афины», «Тверской бульвар, 25», «Литературная Россия», «Кольцо А», «Литературный оверлок» и других. Участник образовательного форума «Таврида» (2017), лауреат конкурса молодых поэтов имени Михаила Орлова (Томская область) и других. Автор книги прозы «Самокрутки» (2014), удостоенной стипендии Министерства культуры России.

Евгения Коробкова — журналист, литературный критик, поэт. Родилась в городе Карталы (Челябинская область). Окончила Литературный институт, журфак Челябинского государственного университета, архитектурно-строительный факультет Южно-Уральского государственного университета. Сейчас — литературный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Занимается исследованием русской авангардной поэзии 1950-х годов (диссертация о Ксении Некрасовой). Лауреат премии Артема Боровика (за журналистское расследование), премии имени Риммы Казаковой «Начало», Волошинской премии (за критику). Член Союза писателей Москвы.

Владимир Косогов родился в 1986 году в Железногорске (Курская область). Окончил филологический факультет т Курского государственного университета. Публиковался в журналах «Знамя», «Арион», «Нева», «Сибирские огни», «Москва». Лауреат Волошинского конкурса, победитель конкурса имени Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай», премии «Лицей». Член Союза писателей Москвы.

Анна Маркина родилась в 1989 году. Окончила Литературный институт (семинар детской литературы). Публиковалась в журналах и альманахах «Дружба народов», «Зинзивер», «Белый ворон», «Кольцо А», «Аврора», «Плывущий мост», «Юность», «Слово/Word», в «Независимой газете» и других изданиях. Победитель премий «Северная Земля», «Провинция у моря», финалист Григорьевской премии, Волошинского конкурса, премии «Независимой газеты» «Нонконформизм». Автор книг «Кисточка из пони» и «Сиррекот, или Зефировая Гора». Участник арт-группы «Белка в кедах». Живет в Люберцах.

Максим Матковский родился в 1984 году в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко и Дамасский институт (специальность — «арабский язык и литература»). Участник Форума молодых писателей в Иркутске (2017). Лауреат всеукраинской премии «Активация слова» (2011), премии «Дебют» (2012, 2014), Русской премии (2015). Автор книги стихов «Нож» (2015), романов «Попугай в медвежьей берлоге» (2016) и «Секретное море» (2017).

Григорий Медведев родился в Петрозаводске в 1983 году, жил в Тульской области, Москве. По образованию журналист, работает новостным редактором. Стихи публиковались в журналах «Кольцо А», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» и других. Участник семинаров для молодых авторов при Союзе писателей Москвы (2014, 2016, 2018). Лауреат премий «Лицей» и «Звездный билет» имени Василия Аксёнова. Живет в Мытищах.

Василий Нацентов родился в 1998 году в Каменной Степи (Воронежская область). Учится на географическом факультете Воронежского государственного университета. Публиковался в журналах «Октябрь», «Знамя», «Наш современник», «Кольцо А», «Сибирские огни», в «Литературной газете», «Литературной России» и других изданиях. Участник форума молодых писателей России и стран СНГ, фестиваля искусств Юрия Башмета, совещаний молодых писателей Союза писателей Москвы и других. Лауреат премии правительства Воронежской области и премии «Звездный билет» имени Василия Аксёнова.

Серафима Сапрыкина родилась в 1988 году в Волгограде. Окончила философское отделение Кубанского государственного университета, сейчас — магистрант СПбГУ (направление «религиозная философия»). Публиковалась в журналах «Знамя», «Наш современник», «Сибирские огни», «Зинзивер», в сборнике «Новые писатели» и других. Участник Форума молодых писателей России (2013, 2015, 2016). Лауреат премии журнала «Зинзивер». Автор книги «Падчерица речи» (2015). Член Союза писателей Москвы. Живет в Санкт-Петербурге.

Иван Стариков родился в 1983 году в Ленинграде. По образованию биолог, учился в Петербурге, Подмоскowie и Франции, аспирант Гейдельбергского университета. Стихи печатались в журналах «Арион», «Волга», «Знамя», «Кольцо А», «Литература», интернет-изданиях «Полутона», «Артикуляция», сборнике «Новые писатели», переводы поэзии — в журналах «Воздух», «Контекст», TextOnly, Prosodia, критика — в бумажной и интернет-периодике. Участник совещаний молодых авторов Союза писателей Москвы (2015, 2016). Член Союза писателей Москвы. Живет в Германии.

Анастасия Трифонова родилась в 1987 году в Смоленске. Кандидат филологических наук, работает учителем. Участница литературной студии «Персона» при Смоленском государственном университете. Лонглистер Волошинской премии (2018). Автор двух книг стихов.

Дмитрий Шабанов родился в 1985 году в Минусинске (Красноярский край). Публиковался в журналах «День и Ночь», «Зинзивер», «Иные берега», «Среда», «Кольцо А», Номо Legens, в «Литературной газете», антологии премии «ЛитератураРентген» и других изданиях. В 2000 году получил стипендию имени В. П. Астафьева. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2015), победитель конкурса «Словарный запас» (2018) и других. Автор сборника стихотворений «Надпись под книгой» (2018). Живет в Санкт-Петербурге.

Яна Юдина родилась в 1989 году. В 2016 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте (семинар прозы О. Павлова). Заняла второе место в литературном конкурсе журнала «Русский Пионер» (2015), третье место в конкурсе литературного и художественного авангарда «Лапа Азора» в номинации «Року Укор» (2016). Участник совещаний молодых авторов Союза писателей Москвы. Живет в Подмоскowie.

Содержание

Александр Переверзин, Элина Сухова	
Здесь всё всерьёз	3
Антон Азаренков	
Отвечать не словами	5
Нина Александрова	
Поверх книжных строк	15
Софья Александрова-Оршатник	
Стихотворенье из земляники	25
Евгения Баранова	
Кто на фотоснимке?	34
Наталья Белоедова	
Между здесь и там	44
Андрей Болдырев	
Мальчик-с-пальчик с пустым ведром	54
Михаил Бордуновский	
Выстрелы	63
Антон Васецкий	
Монтаж всё исправит	73
Николай Васильев	
Звезда невозврата	82
Любовь Глотова	
Вкушая дары	92
Олег Демидов	
Самое главное	102

Алексей Комаревцев	
Рассчитывать на август	112
Константин Комаров	
По периметру примет	122
Полина Корицкая	
Плакать в самолете неприлично	132
Евгения Коробкова	
Страшный сон	141
Владимир Косогов	
Автопортрет	150
Анна Маркина	
Love is	159
Максим Матковский	
В это трудно поверить	166
Григорий Медведев	
От Яузы до Клязьмы	174
Василий Нацентов	
На всякий случай	181
Серафима Сапрыкина	
Песочные братья	190
Иван Стариков	
Всё ещё здесь	197
Анастасия Трифонова	
Ай-Петри	206
Дмитрий Шабанов	
Пить из окна	217
Яна Юдина	
Переезд	227
Об авторах	237

Союз писателей Москвы

Литературно-художественное издание

Настоящее время. Поэзия

Проект «Путь в литературу»

Составители:

Переверзин Александр Валерьевич

Сухова Элина Константиновна

Хлебников Олег Никитьевич

Руководитель проекта:

Сидоров Евгений Юрьевич

Подготовлено к печати
издательством «Воймега»
e-mail: voymega@yandex.ru
издатель А. Переверзин

редакторы: А. Переверзин, Э. Сухова
корректор, технический редактор: О. Тузова

Подписано в печать 15.05.2019.
Формат 90х60/16. Усл. печ. л. 15,25.
Тираж 1000 экз.



Знак информационной продукции
согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ

